НА СѢВЕРЪ.

ПУТЕВЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ.

В. К.

Государственная публичная историческая библиотека России

В. Н. Харузина

НА СЕВЕРЕ

(Путевые воспоминания)

Москва
2015

УДК 39 (470.1/2)
ББК 63.5 (231)
Х 22

Печатается по изданию: [Харузина В. Н.] На Севере: (Путевые воспоминания)/ В. Н. Харузина.— М.: Тип. Т-ва А. Левенсон и К°, 1890.— 235 с.: ил.

Харузина В. Н.
Х 22 На Севере: (Путевые воспоминания)/В. Н. Харузина; предисл., примеч. Л. В. Беловинского; Гос. публ. ист. б-ка России.— М., 2015.— 191 с.
ISBN 978-85209-360-8

Вера Николаевна Харузина (1866—1931), первая женщина в России, ставшая профессором этнографии, автор научных работ и популярных очерков о народах мира, составитель сборников сказок и мифов. Вместе с братом Н. Н. Харузиным, известным этнографом, Вера Николаевна совершила поездку в Карелию, Архангельскую губернию и Лапландию (1887). Свои наблюдения она подробно изложила в книге «На Севере: (Путевые воспоминания)», опубликованной в 1890 г. Исследователи близко знакомились с бытом народонаселения Севера (русских поморов, скитников, водлозеров, лопарей (саамов) и др.), жили рядом с ними, записывали их предания, песни и рассказы. Детально показан уклад зажиточных и бедных крестьян, их обычаи, семейные отношения, промыслы, праздники и кухня.

УДК 39 (470.1/2)
ББК 63.5 (231)

ISBN 978-5-85209-360-8

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ НА СЕВЕРЕ

Историческая библиотека представляет читателям книгу путевых заметок В. Н. Харузиной. Этот человек хорошо известен профессиональным этнографам своими специальными трудами. Но в данном случае Харузина выступает именно как путешественница, внимание которой привлекает буквально все.

Русский Север никогда не был обделен вниманием ни политиков, ни предпринимателей, ни ученых. Это и понятно: Архангельский порт оставался важнейшим пунктом заграничной торговли, а Архангельская, Олонецкая, Вологодская губернии — поставщиками экспортных товаров: пушнины, сала, ценных пород рыбы, продуктов переработки древесины. Еще в XVIII в. ботаник И. И. Лепехин (1740—1802), участник академической экспедиции по России под руководством Палласа, путешествовал по Северу России и оставил «Дневные записи», изданные Академией наук. Тогда же Н. Я. Озерецковский (1750—1827), обучаясь в академической гимназии, в 1768 г. был направлен в самостоятельную поездку в Кольский уезд Архангельской губернии, а в 1785 г. путешествовал по Ладожскому и Онежскому озерам. Результаты изучения Русского Севера он запечатлел в работах «Сведения о Кольском уезде» (1771), «Описание путешествия по Белому морю» (1772), «Обозрение Онежского озера» (1791), «Описание города Колы» (1796), включая вышедшую в 1792 и 1812 гг. книгу «Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому». Ряд описаний Севера появился в первой половине XIX в., однако описывали его преимущественно зоологи, ботаники, геологи либо деловые люди, вроде занимавшегося торговлей потомственного почетного гражданина архангелогородца В.Н. Латкина, мечтавшего о поднятии благо-

состояния Печорского края и Севера России; выдержки из записок о своих поездках он печатал в журналах, а в полном виде «Дневник на Печоре» вышел в Записках Императорского Русского географического общества (ИРГО).

Однако ученые того времени не склонны были замыкаться в избранной узкой специальности, а проявляли примерное внимание ко всему, что удавалось увидеть в путешествиях. Это были именно путешественники, открыватели новых для науки и общественности земель, жадно всматривавшиеся в незнакомый мир. Такой комплексный, междисциплинарный подход определялся как характером самой науки той поры, так и новизной материала: необычный во многих отношениях и почти неисследованный край пробуждал любопытство. Одним из наиболее известных описаний Русского Севера стала книга русского бытописателя С. В. Максимова «Год на Севере». В свое время она стала настоящим событием в литературной жизни, дав громкое имя своему автору. Интересна не только сама книга, но и история ее создания. Возглавлявший морское ведомство генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич в 1855 г. задался целью исследовать быт народа, населявшего приморские области России и получающего средства к жизни рыбными и звериными промыслами. Предложение отправиться в поездки «для исследования быта жителей, занимающихся морским делом и рыболовством», было сделано ряду известных тогда писателей. И.И. Панаев рекомендовал для выполнения такой работы малоизвестного тогда как писатель, не имевшего еще ни одной книги Сергея Васильевича Максимова (1831—1901). Молодость и малая известность Максимова не остановили августейшего заказчика, занявшего в этом деле оригинальную позицию. В ответ на приказ управляющего Морским министерством барона Ф. П. Врангеля разработать программу для испытания будущих путешественников великий князь писал: «Я не считаю нужным давать подробную программу для этих исследований, предоставляя каждому составлять описание по собственному усмотрению». В краткой инструкции, подписанной Врангелем, говорилось лишь: «...прошу Вас обратить при сем особенное внимание: на а) их жилища, их промыслы, с показанием обстоятельств, благоприятствующих и мешающих развитию оных; в) суда и разные судоходные орудия и средства, ими употребляемые, означая их названия и представляя, если возможно, их изо-

бражение на рисунке, с) физический их вид и состояние и d) преимущественно их нравы, обычаи, привычки и все особенности, резко отличающие их от прочих обитателей той же страны, как в нравственности, так и в промышленном отношении, а равно и в речи, поговорках, поверьях и т. п. Если Вы найдете возможным подметить и другие характеристические черты обозреваемой Вами страны и ее жителей, то совершенно от Вашего усмотрения будет зависеть вместить их в описание, как признаете за лучшее. Морское начальство, не желая стеснить таланта, вполне предоставляет Вам излагать Ваше путешествие и результаты Ваших наблюдений в той форме и тех размерах, которые Вам покажутся наиболее удобными, ожидая от Вашего пера произведения его достойного как по содержанию и изложению, так и по объему». Так молодой и практически неизвестный литератор летом 1856 г. отправился в «литературную экспедицию» (позже он так и назовет одну из своих работ, опубликованную в 1890 г. в «Русской мысли») вдоль берегов Белого моря на лошадях, а больше на карбасах, посетив Кемский берег, Колу, Терский берег, Соловецкие острова. С наступлением ледостава, с октября 1856 до февраля 1857 г. он проехал по льду рек Мезени, Пинеги и Печоры до Пустозерска. В 1859 г. вышли 2 тома его «Года на Севере», тепло встреченные критикой. В Записках ИРГО говорилось: «...рассматриваемое сочинение хотя и не представляет систематической связи этнографии и истории (что, впрочем, и не было целью автора), но для того, кто в истории ищет народной жизни, должно быть названо одним из важнейших для нее пособий». Книга сразу получившего громкую известность автора была удостоена золотой медали ИРГО. В ней осмыслен феномен целостной культуры окраины страны и воссоздан образ жизни народа, выработавшего особенный характер в противостоянии суровой природе. Среди множества работ Максимов посвятил Северу и другие сочинения «для народа», навеянные поездкой: «Голодовка и зимовка на Новой Земле», «Ледяное царство и мертвая земля», «Край крещеного света».

Всестороннее описание неизведанного края, от рельефа местности и флоры и фауны до быта, нравов и психологии жителей, долго было характерно для записок путешественников. Таким исследователем-универсалом был и известный своей книгой «Россия и Европа» публицист, естествоиспытатель, практический деятель в области на-

родного хозяйства Н. Я. Данилевский. В 1857 г., причисленный к Департаменту сельского хозяйства, он был направлен на 3 года для исследования рыболовства в Белом море и Ледовитом океане и опубликовал «Исследование рыбных и звериных промыслов Белого моря и Ледовитого океана» и «О мерах продовольствия жителей Крайнего Севера России».

Известны и другие имена естествоиспытателей, путешествовавших по Северу и оставивших интересные записки о жизни местных обитателей. Ярким примером этому может послужить Иван Семенович Поляков (1847—1887). Его работы под названием «Три путешествия по Олонецкой губернии» были переизданы в 1991 г. в Петрозаводске. Окончив в свое время физико-математический факультет Петербургского университета и будучи зоологом, Поляков оставил нам подробное социологическое и этнографическое описание края. Особенное значение имело его изучение Пудожского уезда: прежние путешественники эту территорию почти не затронули. Собственно, широта взгляда Полякова была предопределена в выступлении вице-президента Императорского Русского географического общества П.П. Семенова о задачах этой поездки: само население Олонецкого края, по его мнению, «представляет особенно большой интерес для исследования его промыслов в зависимости от физических условий, так как оно менее подверглось влиянию густонаселенных торговых и промышленных центров, и зависимость от почвы, климата, флоры и фауны выражается здесь в более тесной связи и менее осложненных формах». Первая экспедиция, в ходе которой Поляков писал письма-отчеты в ИРГО, прошла летом 1871 г. Во время поездок он встретился с известным фольклористом А. Ф. Гильфердингом, и часть пути они проехали вместе. Поляков с содроганием вспоминал путешествие «по болотистым пространствам, где поперек дороги кладутся жерди и где телега постоянно скачет, причиняя пассажиру истинный скрежет зубов»; «за Пудожем... в разные стороны расходятся только тропинки, по которым люди смелые и состоятельные ездят иногда верхом, рабочие — идут пешком; есть и такие особы, которые из опасения слишком утомиться или оставить на дорожке голову или ребро, никогда на них не заходят». Вторая экспедиция была совершена Поляковым в 1873 г. По их итогам путешественник был награжден золотой медалью ИРГО. В третью экспедицию в Олонецкий край он

отправился в 1875 г. В ходе путешествий, как и полагается, он вел путевой дневник, который лег в основу работы «Взгляд на экономическое состояние и современный быт жителей в связи с природой и развитием культуры на Севере». При изучении народонаселения Полякова интересовала связь условий жизни с окружающей средой. Так, запрет подсечного хозяйства нанес обитателям края удар, «которого нельзя было уравновесить в их положении никакими средствами; они были лишены одного из важнейших источников к пропитанию и не получили взамен его ничего другого». Особое внимание он обращал на зависимость рыбаков и охотников, лесорубов от скупщиков, наживавших на эксплуатации населения до 100%. Интересовался Поляков и археологией края, особенно в третьей экспедиции, открыв ряд стоянок каменного века. Археолог и историк археологии А. А. Формозов в статье о Полякове писал: «В истории отечественной археологии он остался навсегда как замечательный полевой работник, исследовавший десятки стоянок каменного века, наметивший пути их изучения на долгие годы вперед».

В этом краю, отдаленном и труднодоступном даже тогдашнему не избалованному комфортом путешественнику, как бы законсервировался исконный, старинный быт русского народа с его обычаями, нравами и характерами. Еще более необычной казалась жизнь коренного населения Севера: финнов, лопарей, «самоедов» (саами); среди простолюдинов лопари даже слыли колдунами. Своеобычность народной жизни породила внимание к Северу у многих писателей-этнографов. Финский лингвист и финнолог М.-А. Кастрен еще в 1838 г. совершил пешее путешествие в финскую Лапландию, в 1840 г.— в Карелию, собрал много сведений о местных наречиях и народном творчестве, в 1841—1844 гг. провел исследования среди лопарей и самоедов Архангельской губернии, в 1845—1849 гг. вновь путешествовал по северной России. Стоит назвать также В. Н. Майнова, написавшего ряд работ о северных народах, С. А. Приклонского с его «Народной жизнью на Севере» (М., 1884), Сидорова («Север России», 1879), Рибо («Laponie russe». Париж, 1889), Рейнеке и др. Можно долго перечислять имена путешественников по Русскому Северу, но думается, что стоит завершить эту череду славным именем М. М. Пришвина. Именно путешествие по Северу в 1907 г. с «бумагой» от ИРГО для сбора этнографического материала стало причиной появления первых художественных

произведений Пришвина «В краю непуганых птиц» и «За волшебным колобком». «Я выбрал себе медленный, какой-то тележный этнографический путь к литературе,— писал он позже.— ...Известный этнограф Н.Е. Ончуков... познакомил меня с академиком Шахматовым, который кое-чему научил меня, достал мне открытый лист от Академии наук, и с тех пор звание этнографа сопровождает меня всю жизнь, хотя я наукой этой не занимался». В последний раз Пришвин побывал на Севере в 1935 г., запечатлев это путешествие в очерках «Северный лес».

Подлинной неожиданностью для научной общественности стало открытие на Севере мощного пласта былинного фольклора. С ним неразрывно связано имя Павла Николаевича Рыбникова (1832—1885). В 1859 г. он был в административном порядке сослан в Петрозаводск и в 1861 г. стал секретарем Олонецкого губстаткомитета. Занимаясь служебной деятельностью, он записал в Прионежье свыше 200 былин, исторических песен и других текстов и опубликовал их («Песни, собранные П. Н. Рыбниковым». Т. 1—4. 1861—1867). До него былины знали только по сборнику Кирши Данилова и полагали, что найти их можно только где-нибудь в отдаленных краях, в Сибири. В ученом мире их бытование недалеко от Петербурга вызвало изумление и даже недоверие, тем более что Рыбников лишь в третьем томе, вышедшем в 1864 г., рассказал о своих путешествиях по Олонецкому краю, о том, как им был открыт былинный эпос, как он разыскивал певцов, которых перечислил поименно, с указанием их местожительства. Может быть, только после него Север превратился в Мекку для этнографов. Вслед за Рыбниковым на Север зачастили фольклористы. Из них наиболее известным оказался, вероятно, Александр Федорович Гильфердинг (1831—1872), славяновед и историк, видный представитель славянофильства, с 1870 г.— председатель Этнографического отделения ИРГО. В 1871—1872 гг. он предпринял поездку в Олонецкую губернию специально для собирания былинного эпоса и записал 318 былинных текстов. В изданном в 1873 г. труде «Онежские былины, записанные летом 1871 года», он впервые применил расположение материала по сказителям и начал изучение их биографий и творчества. Между прочим он же впервые зимой 1871—1872 гг. устроил в Петербурге выступление нескольких сказителей, в том числе известного Т. Г. Рябинина. Вслед за ним собирали и публиковали былины

А. В. Марков («Беломорские былины». М., 1901 и «Материалы, собранные в Архангельской губернии летом 1901 г.». М., 1905), А. Д. Григорьев («Архангельские былины и исторические песни, собранные в 1899—1901 гг». Т. 1. М., 1904; Т. 2. Прага, 1909; Т. 3. СПб., 1910), Н. Е. Ончуков («Печорские былины». СПб., 1904; «Былины новой и недавней записи из разных местностей России под ред. В. Ф. Миллера». М., 1908) и другие.

Однако из ученых, посетивших Русский Север, нас прежде всего должна интересовать Вера Николаевна Харузина. Впрочем, для начала нелишне будет сказать кое-что о семействе Харузиных вообще. Люди, профессионально занимающиеся этнографией, хорошо знают эту фамилию: три брата и сестра Харузины оставили яркий след в науке об этносах. Их отец, Н. И. Харузин, выходец из сибирского купечества, вел в Москве обширную торговлю текстилем; с 1873 г. он уже купец 1-й гильдии. После его смерти в 1880 г. крупное «дело» Харузиных было продано Щукиным. Мать будущих этнографов — также купеческая дочь М. М. Милютина. Однако это было уже новое купечество, не ограничивавшееся только наживой: в круг его интересов входили науки и искусство, меценатство и благотворительность. В этом смысле любопытны детальные описания двух харузинских домов, сделанные Верой Николаевной в книге воспоминаний. Один, в Замоскворечье,— характерно-купеческое жилище. Другой, в арбатских переулках — дворянский особняк с уже совершенно новой обстановкой и новым бытом. Так что недаром Вера Харузина обучалась в лучшей частной женской гимназии Москвы С.Н. Фишер, которую окончила в 1881 г. с золотой медалью, а сыновья Николая Ивановича и Марии Михайловны получили высшее образование. Это была типичная семья интеллигентных москвичей из предпринимательской среды.

Старший брат, Михаил Николаевич Харузин, проживший всего 28 лет (1860—1888), будучи юристом по образованию, в основном занимался изучением обычного права народов России. Еще студентом он совершил свои первые полевые экспедиции и был избран секретарем Этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ) при Московском университете. Главные его работы: «Очерки юридического быта народов Сарапульского уезда Вятской губернии» (М., 1883), «Сведения о казацких общинах на Дону» (Вып.

2. М., 1885), «Программа для собирания сведений об юридических обычаях» (М., 1887). Он и повлиял в значительной мере на интерес сестры и двух братьев к этнографии. Вера Николаевна вспоминала: «Это был год (1881 — *Л. Б.*) первой этнографической поездки Миши... Миша ехал на Север не с целью собирания этнографических сведений... Он хотел познакомиться воочию с жизнью народа, которую он знал только по книгам и которой глубоко интересовался и горячо любил. Ему только минуло в это лето 22 года, и он был весь восторженно настроен» (с. 431). В письмах к родным он оставил восторженные описания Севера и его жителей. «И потянуло меня с тех пор на Север. Осуществилась моя мечта в 1887 году, когда мы с Колей в свою очередь совершили поездку по Олонецкой и Архангельской губерниям и восприняли во время ее незабвенные впечатления» (с. 432).

Николай Николаевич Харузин (1865—1900) первым в России (с 1890 г.) начал читать курс этнографии в Московском университете и Лазаревском институте восточных языков. Он стал одним из основателей журнала «Этнографическое обозрение» и его редактором, издавая первые выпуски на собственные средства. С 1891 г. он был секретарем Этнографического отдела ОЛЕАЭ, служил в Архиве Министерства юстиции и в Историческом музее. В 1886—1896 гг. он проводил обширные экспедиционные работы в Олонецкой и Архангельской губерниях, на Кавказе, в Крыму, Прибалтике, Сибири, систематизировал материалы по этнографии России, собранные предшественниками. В своих работах Н. Н. Харузин применял метод комплексного изучения данных этнографии и смежных дисциплин, составляющий особенность русской этнографической школы. Его основные научные труды посвящены обычному праву, развитию семьи и рода, религиозным верованиям, истории жилища. Прожив всего 35 лет, он оставил заметный след в этнографической науке. Наиболее важными были его работы «Русские лопари. Очерки прошлого и современного быта» (М., 1890), «Очерк истории развития жилища у финнов» (М., 1895), «История развития жилища у кочевых и полукочевых тюркских и монгольских народностей России» (М., 1896), «Этнография» (Курс лекций. Вып. 1—4. СПб., 1901—1905). Именно с братом Колей Вера Николаевна и совершила свое путешествие на Русский Север.

Трагической, как и вся история России XX в., оказалась судьба Алексея Николаевича Харузина (1864—1933), ведшего исследования в области как этнографии, так и археологии и антропологии. Он изучал русских, народы Кавказа и Крыма, казахов, прибалтийские народы, зарубежных славян. Главные его сочинения: «Древние могилы Гурзуфа и Гугуша (на Южном берегу Крыма)» (М., 1890), «Жилище словинца Верхней Крайны» («Живая старина», 1902, вып. 3—4), «Киргизы Букеевской орды» (Вып. 1—2. М., 1889—1891), «Славянское жилище в Северо-Западном крае» (Вильнюс, 1907) и др. Помимо научных занятий, А. Н. Харузин много времени отдавал государственной службе. В 1911 г. он назначен товарищем министра внутренних дел, был сенатором, гофмейстером Двора (с 1913). Однако незадолго до 1917 г. А. Н. Харузин, по несогласию с министром, вышел в отставку. В 1927 г. он был арестован ОГПУ как «бывший», но вскоре выпущен без предъявления обвинения, в начале 30-х работал консультантом Сельхозгиза по огородничеству, а в 1932 г. арестован по обвинению в антисоветской агитации вместе с сыном и умер в Бутырской тюрьме от сердечной недостаточности. Его сын Всеволод был осужден на 3 года и отправлен на Беломорканал, освобожден досрочно за ударную работу, но в 1935 г. вновь арестован и осужден на 10 лет; дальнейшая его судьба неизвестна. Жена Алексея Николаевича, Наталья Васильевна, в 1937 г. была выслана из Москвы как «мать врага народа» и в 1943 г. умерла в Малоярославце.

Что касается нашего главного героя, то Вера Николаевна Харузина (1866—1931) — первая в России женщина — профессор этнографии. Толчком к научным интересам послужило для нее посещение в 1877 г. Антропологической выставки в Москве. В своих, еще детских поездках по Подмосковью она сделала первые записи свадебных обрядов. Вместе с братом Николаем, 21 года, она отправилась в поездку по Олонецкой и Архангельской губерниям, проводила полевые работы в Прибалтике, на Алтае, в Барабинской степи, в Крыму, на Кавказе. Свои научные исследования Вера Николаевна посвятила главным образом религиозным верованиям и фольклору, используя методы смежных наук — филологии, истории, картографии и др. С 1907 г. она читала курс этнографии на Высших женских курсах в Москве, в Археологическом институте, а в советское время до 1923 г.— в университете. Ее лекции составили книгу «Этнография» (Т. 1—2. М.,

1909—1914) и изданное посмертно «Введение в этнографию. Описание и классификация народов земного шара» (М., 1941). Она вела большую работу по популяризации этнографических знаний. Рассказывая о существовавших в этнографии школах (мифологической, экономической, лингвистической), всегда выделяла в них те положения, которые могут быть реализованы в практическом исследовании быта, обычаев, нравов разных народов. Серьезное внимание она уделяла изучению малых народностей Русского Севера, оставив ряд очерков: «Лопари», «Вотяки», «Юкагиры», «Тунгусы», «Сказки русских инородцев» (М., 1898). Обладая хорошим слогом, Вера Николаевна сама стала автором сказок и рассказов для детей: выдержавшей много изданий сказки «Царевна — каменное сердечко» (1899), «Оцзи и Олесь. Рассказ из жизни лопарей» (1903), «Тунгусенок Михало» (1928) и др. В данном же издании представлена ее книга «На Севере», вышедшая в 1890 г. по итогам путешествия с братом в северные края.

Л. В. Беловинский,
доктор исторических наук

I

КИВАЧ.— ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ПУДОЖСКИМ УЕЗДОМ

Кивач, воспетый Державиным[1], посещаемый многими путешественниками, которые иногда специально для этого приезжают из Петербурга, составляет гордость жителей Петрозаводска.

Благодаря удобному сообщению из Петрозаводска часто отправляются большими компаниями на Кивач — реже к двум другим Сунским водопадам, Гирвас и Пор-Порог.

Нам посоветовали ехать утром, чтобы к вечеру быть у водопада, ночевать там у сторожа и на следующий день видеть восход солнца, отражающийся, по словам местных жителей, блестящей радугой на белой пене водопада.

Был Троицын день, когда мы выехали из Петрозаводска на Кивач; гудел соборный колокол, и местное население, оживляя обыкновенно пустынные улицы, стекалось к собору. Проехали главную улицу, которая тем не менее не мощена, миновали почтамт, окрашенный в голубую краску губернаторский дом и поросшую травою площадь перед ним, на которой возвышается памятник Петру I; миновали и здание городской тюрьмы — высокое белое строение казарменного типа; остались позади последние маленькие домики. Остановились на минуту привязать к дуге колокольчик[2]. Весело залился он; лошади взяли крупной рысью.

Неприветлив и дик северный пейзаж. Вьется широкою лентою пустынная, молчаливая дорога через

мелкий реденький лесочек по кочковатой, болотистой почве. Жиденькие елочки выделяются на сером фоне хмурого неба. Вдали свинцовые волны Онежского озера.

Вот свернули в сторону и спустились в долину реки Шуи.

Точно вдруг повеселел пейзаж от внезапно упавшего луча солнца. Блещут свежей зеленью пашни, блещут светлые струи реки Шуи. По обеим сторонам реки раскинуто много деревень, которые все вместе носят название Шуи. Всех их как будто соединяет вокруг себя старинная деревянная церковь о многих куполах.

Дорога пошла лесом; тут и там мелькают обрывки скал, частью поросшие мхом, частью темно-серой голой массой поднимающиеся из земли.

Вот внезапно расступилась темная стена леса, и длинное узкое озеро выступило из-за густой зелени; серые волны его плескались почти что у самой дороги.

«Это Укшезеро»,— сказал нам ямщик.

Трудно передать всю прелесть этих лесных озер, характерных для нашего Севера. Они оживляют однообразную картину на десятки верст растянувшегося леса, и невольно радуешься, когда после долгого пути через леса вдруг увидишь серые волны этих озер.

Укшезеро составляет часть огромного водоема, который состоит из трех озер: Пертозера, Кончезера и Укшезера. При этом замечательно, что Пертозеро лежит выше Кончезера, и это последнее выше Укшезера. Пертозеро, соединенное с Кончезером посредством шлюза, приводит в действие Кончезерский завод[3]. Этот завод, основанный в 1707 г. Петром Великим и назначенный им для плавки меди, с 1753 г. прекратил медно-плавильное производство и теперь исключительно занимается выплавкою из болотных и озерных руд чугуна, который потом отправляется на Петрозаводский Александровский завод[4]. Со шлюза, соединяющего Пертозеро с Кончезе-

ром, видны оба озера. Особенно красиво Кончезеро с массою островов. Острова вообще оживляют иногда громадную, однообразную гладь северных озер. Здесь же их целые массы — они пестрят все озеро; замечательно, что все они лежат в одном направлении — вдоль озера и все носят имя какого-нибудь святого, кроме одного, который лег поперек и поэтому прозывается «Дураком».

Проехали Кончезерское селение. На дороге встречались нам целые группы разряженных крестьян. Троицын день — храмовой праздник и открытие ярмарки в Кончезере; поэтому сюда собрался народ из соседних деревень. Наш ямщик, парень лет 25-ти, очевидно желая щегольнуть перед проходящими по дороге бабами и девушками, лихо боком уселся на облучке и погнал лошадей что есть мочи. Лошади неслись вскачь, почти расстилаясь.

Вдруг случилось что-то необычайное — какой-то толчок; неясно замелькало все в глазах; почувствовался сильный удар. Дело объяснилось очень просто. На полном скаку телега соскочила с бонда[5] и нас вывалило. Очнувшись от минутного обморока, я прежде всего увидала телегу, всю изломанную, колесо, валявшееся поодаль, и ямщика, бившего себя по полам и кричавшего неистовым голосом: «Батюшки, пособите! Добрые люди, пособите!»

Подошли «добрые люди» — три парня, очевидно отправлявшиеся на ярмарку,— подняли телегу, вправили кое-как колесо.

«Батюшки мои, что же тут делать! Вот приключилось! Батюшки, как же тут быть!»— восклицал между тем совсем растерявшийся ямщик.

«Добрые люди» стали спрашивать, как все это случилось, потом начали подавать советы и под конец напомнили, что тут рядом есть деревня — Кончезерская Чупа — что всего лучше направиться туда.

Кончезерская Чупа — деревушка, состоящая всего из нескольких дворов, действительно, оказалась в двух шагах. Деревня, впрочем, на этот раз была почти совершенно пуста: все ушли в Кончезеро. Ра-

зыскали, однако, какого-то старика. Но он, посмотрев сначала на наши сильно расшибленные лица и руки и, боясь, очевидно, что его притянут в свидетели, испуганно бросился от нас в сторону: «Не видал ничего... и нету у меня ничего... не знаю»,— быстро заговорил он.

«Да дай же воды, дедушка».

«Нету у меня ничего — вот озеро близко, пойдите туда».

Тот же результат у двух баб, проходивших мимо.

«И ничего не видали — и знать мы ничего не знаем»,— замахали они на нас руками.— Вот озеро — воды много,— и они поспешно удалились.

«А вот сюда ступайте. Хозяйка така добра. Вот, в эту-то избу»,— кричали нам между тем мужики, пособившие ямщику и теперь последовавшие за нами.

Хозяйка, действительно, оказалась хорошей. Живо вспоминается мне она: на 50-м году все еще бодрая и стройная женщина, с правильными чертами лица, прекрасными светло-карими глазами, полными живой мысли, глубокой доброты и силы воли. Она приняла нас радушно, принесла воды, деревянного масла[6], сама стала ухаживать за нами.

Праздником пользуются для того, чтобы побывать друг у друга в гостях. Поэтому в избу то и дело входил празднично одетый народ. Здоровались все за руку. Женщины иногда целовались, т.е. обнимались и прикладывались друг к другу щеками (такого рода приветствия между женщинами нам неоднократно случалось замечать в Олонецкой губернии); затем чинно садились по лавкам. Говорили больше старшие, хотя и молодые принимали участие в общем разговоре. Некоторые разговаривали по-корельски*.

Посидев немного, гости вставали и уходили; кое-кто оставался пить чай. Вернулись также некоторые члены семейства нашей хозяйки. Два мальчика уселись в угол играть в шашки; девочка лет трех,

* Знание корельского языка объясняется тем, что около Кончезера, а именно на западном берегу его, находится несколько корельских селений.

переваливаясь на толстеньких ножках, ковыляла по комнате и всем показывала купленные на ярмарке леденцы и уже замусоленные разноцветные бумажки из-под карамели.

Происшествие с нами скоро стало известно всем находившимся в то время в Кончезере и в Кончезерской Чупе. Приходили взглянуть на нас; нас рассматривали, жалели; качали головами, выслушивая от хозяйки подробный рассказ о случившемся.

«Как их, Господи... в кровь!.. этак и убить до смерти можно»... «Хорошо — на ровном месте еще — а дальше там камни пойдут — так там бы...» «Тут уж ямщик виноват». «Кто же, как не он?...» «Да и то сказать, по ровной дороге — и подумать нельзя было».

Особенно горячился один старик, успевший, как казалось, угоститься на ярмарке. Он положительно не отходил от нас.

«Ямщик виноват, вестимо — чего смотрит? Не видит он, тарантас какой у него? Ты, барин, пожалуйся, беспременно пожалуйся. И губернатору не надо, а царю-батюшке пожалуйся. Теперь ты поехал — с тобой случилось. А поедет он — и его разобьют. Что тут станешь делать? А кто виноват? Ямщик виноват. С нас деньги берут — а кто станцию держит[7] — тот и смотри. С нас взыщут. А мы чем виноваты?»

«Васильич! — послышался из соседней комнаты голос хозяйки.— Пой сюда».

Но старика трудно было угомонить.

«Постой, я не все сказал. Что бабы знают? Ты, барин, слухай меня — пожалуйся, беспременно. Потому, нам от того польза будет. Самому государю, в Питере, пожалуйся».

«Васильич, ужинать садись — крещеные-то все сели»,— снова раздался голос хозяйки.

«Постой, иду сейчас»,— и опять начиналось то же самое. «Ты пожалуйся, потому так-то с самим государем-батюшкой сделать могут».

«Васильич, барину ты наскучишь». Хозяйка наконец явилась сама и увела с собою все еще рассуждавшего старика.

Гостей осталось ночевать очень много — пришлось поэтому потесниться. Трех мальчиков наделили полушубками и отправили спать в сарай. Остальным постлали тюфяки на полу. Хозяйка положила свою маленькую внучку около себя.

Мне не спалось. В избе было душно, но из окон страшно дуло; сердито гудел ветер вокруг дома; бледное мерцание белой северной ночи освещало комнату. Рядами растянутые тюфяки были заняты бабами и девушками. Мерное дыхание здорового сна слышалось со всех сторон. Вдруг проснулась девочка и громко закричала. Хозяйка мгновенно вскочила. «Бог с тобой, Дунюшка — что тебе?» — зашептала она. «Ну, перестань — ангел с тобой хранитель». Прижавшаяся к ней девочка скоро затихла.

На следующее утро меня разбудил говор проснувшихся и встававших вокруг меня баб. Спали все в платьях — поэтому привести себя в порядок было недолго. Все они поочередно, позевывая и потягиваясь, подходили к рукомойнику, висевшему около печки, пригоршнями брызгали себе водой в лицо, потом лениво обдергивали на себе платья и поправляли головные платки. Стали выносить тюфяки. Меня обходили, стараясь не шуметь. «Спит?... пущай себе спит; непривычны рано-то вставать... да и легко ли?»

Принялись за стряпню. Шел говор, прерываемый учащенным дыханием людей, занятых трудным делом; раздавались удары теста, брошенного сильной рукой о стол, частые постукиванья мотовки[8] о край горшка, поскребыванье ножика, сбирающего муку со стола. Ярко запылал огонь в печи, загремели горшки и сковороды. Торопливые шаги ходили взад и вперед по комнате от стола к печке и от печки к полкам.

В комнату то и дело входили мужики; повторилось то же, что и при вставанье баб: позевыванье, ленивые движения не совсем проснувшихся людей, полосканье у рукомойника. Наконец сели за стол в переднем углу. Другой стол, на котором приготовляли стряпню, бабы чисто вымыли.

Мы решили ехать дальше. На Кончезерскую станцию послали за лошадьми. Приехавший тарантас тщательно осмотрели все присутствовавшие. «Небось — этот крепок будет и ямщик хороший — знающий... небось»,— успокаивали нас со всех сторон.

«Ну, Господь с вами... Дай вам Бог... Путь добрый!» «Будете опять в нашей стороне — заезжайте в нашу чупу»,— такими приветливыми словами провожали нас наши гостеприимные хозяева. Денег за ночлег они ни за что не хотели взять: «Что вы, что вы... как можно?... да вы у нас ничего и не ели... а за постой, что вы?»

Еще долго стояла пестрая толпа на крыльце и около избы. Среди всех возвышалась фигура хозяйки, глядевшей нам вслед, придерживая в то же время за руку Дуню, которая делала всевозможные усилия освободиться, чтобы поднять какой-то предмет на полу, занимавший ее.

«Какая хорошая женщина наша хозяйка»,— сказали мы ямщику, еще находясь совершенно под впечатлением радушия этой семьи, все тепло которого мы особенно почувствовали в минуту невзгоды.

«Хорошая она... Да она и в Питере была — знает, как обойтись»,— задумчиво заметил наш ямщик, полуоборотясь к нам.

Безмолвная лесная чаща по обеим сторонам дороги; ясное голубое небо, усеянное белыми облаками, игра утренних лучей солнца на свежей листве деревьев — вот общее впечатление от этих последних 15 верст до Кивача, оставившее неизгладимый след в моей памяти.

Ямщик внезапно осадил лошадей. Мы находились на краю крутого спуска. Таинственно шумел по сторонам лес, весь пропитанный солнечными лучами. Из-за его густой зеленой стены слышался могучий рев. Откуда-то несся запах свежести.

«Пешком бы тут пройти вам; а я бы потихоньку и спустился за вами. Падун (водопад) тут-то и есть».

...Голубая красавица Суна гневно метала белые клубы пены по камням порогов. Шумя и спеша, убе-

гала она, скрываясь за крутыми извилинами лесистых зеленых берегов. Выше «падун» сиял ослепительным блеском в лучах солнца. Белая пена, белая водяная пыль — все смешалось и образовало одну сплошную массу, клокочущую, разрывающуюся, дробящуюся и сливающуюся снова. Утренние лучи солнца, преломляясь, ложились блестящей радугой у ног падуна. Мрачно выдвигались черные утесы из клокочущей пены.

Голубая красавица Суна тихо выплывает из лесу; плавно и мирно катит она свои светлые волны, не подозревая опасности. И вдруг видит — стоят черные, мрачные утесы, загородили, заступили ей дорогу. И просит красавица Суна: «Пропустите, утесы, дайте дорогу». Стоят черные утесы, усмехаются: «Попробуй, красавица, сама пройти — авось посчастливится; держать насильно не станем». Видит Суна — пройти трудно будет, и заворачивает она тихонько в сторону, чтобы выиграть время. А сама все ластится: «Дайте пройти, утесы!» «Проходи, проходи, красавица». И решилась Суна на трудное дело: пройти во что бы то ни стало. Бросается она грудью на утесы, спешит, мечется в разные стороны. Разрывают ее утесы, ставят преграды, ловят красавицу — да вырывается она всею силою — вот и вырвалась, и, еще утомленная трудной, почти непосильной борьбой, гневная, испуганная, собирая разрозненные струи, бежит она изо всех сил дальше от места страшной борьбы.

Самый лучший вид на водопад Кивач открывается с так называемого Царского дворца*, поставленного здесь для приезда государя Александра II в 1858 г. Построенный по образцу павильона при Рейнском водопаде, царский павильон красиво ютится среди зелени деревьев. Легкая, едва заметная, водяная пыль долетает до его балкона — до того близко стоит он к водопаду. Кругом шум и рев: грохочет водопад; шумит, ударяясь о скалистый берег, освободившаяся Суна; шумит и кипит кругом отведенная в сторону

* Билеты для входа в этот павильон можно достать у управляющего Петрозав. Александр. завода, также у управл. Кончезер. завода.

часть воды, которая, огибая павильон, покрытая белой пеной, стремительно пробегает по деревянным желобам и спешит снова соединиться с родными струями.

«Жаль, что вы поздно едете на Кивач,— говорили нам в Петрозаводске,— лучшее время для поездки на Кивач — ранняя весна, когда гонят лес. Вот что действительно интересно посмотреть». Когда весною сплавляют лес по Суне, отдельные бревна часто застревают среди утесов на Киваче. Мужики, которым поручен надзор за лесом, протягивают канат с одного берега на другой и надевают на него так называемую «люльку», в которую садится один из мужиков. Наклоняясь осторожно из «люльки», он должен багром отцепить застрявшие бревна. Может быть, интересная, но зато какая страшная картина! Видеть человека почти что в руках смерти, который от одного неловкого движения может скатиться в эту клокочущую бездну, из которой иногда самые толстые бревна выходят изломанными в щепки....

Рев водопада давно остался за нами; мы возвращаемся в Петрозаводск. Опять окружает нас безмолвие леса. Те же места — только при другом освещении. Дневные лучи солнца жарче и живее утренних, и как будто больше живет и дышит кругом природа.... Осталась в стороне внизу приветливая Кончезерская Чупа. Деревня пуста, не видно никакого оживления. Мирно лежит она на берегу озера, верхушками своих крыш вырисовываясь на светлых волнах его.

Вот и Кончезеро — шлюз, красное здание завода, красная церковь. Бросаешь последний прощальный взгляд на Укшезеро; в последний раз любуешься Шуей, теперь уже освещенной мягкими золотистыми лучами заката,— вот и Онежское озеро засинелось вдали — вот и город развертывается перед нашими глазами. Несется нам навстречу гул соборного колокола, призывающего ко всенощной,— и при его стройных звуках, медленно расплывающихся в тиши вечернего воздуха, мы въезжаем в Петрозаводск.

* * *

Только медленно мог двигаться наш извозчик среди наполнявшей деревянную пристань пестрой и шумной толпы. Прибытие и отход парохода — одно из главных развлечений жителей Петрозаводска. Было воскресенье — свободно всем, и поэтому чуть ли не весь город собрался на пристань. На пароходе также масса посторонней публики. Теснятся на лавочках, толкаются; мастеровые грызут орехи; девушки-мещанки любопытно заглядывают в рубку первого класса.

Пароход запоздал отходом на целый час! Прошел целый томительный час, пока, наконец, не послышался крик: «Трапы долой!» Наконец раздается давно ожидаемый свисток — колеса мерно ударяют по воде, и пароход сначала лениво, потом все быстрее и быстрее начинает рассекать волны. Далеко за нами остается пестреющая народом пристань. На горе, заслоняя собою заход солнца, чудно выделяется на золотистом фоне заката темной массой своих зданий Петрозаводск, прелестный в зелени недавно распустившихся деревьев.

Вечер был дивный; волны залиты золотом заката; гладь озера неподвижна. Наступила затем белая северная ночь, которую не различишь, пожалуй, от вечера — до того незаметен переход от одного к другой. Тихо озеро; спят волны, окрашенные в тот же монотонный беловато-серый цвет, как и небо. Только пароход гудит да стучит и этим нарушает тишину ночи. Пассажиры, по большей части, разошлись. Лишь некоторые быстро ходят взад и вперед по палубе, чтобы согреться; слышится в одном углу чей-то разговор; там пассажирка 3-го класса кое-как укладывается на тюки, кутаясь в большой шерстяной платок. Кто-то остановился у машины и внимательно следит за ее вращением. Холодно. Несмотря на то, что май уже приходит к концу, в воздухе всего $+5^0$ R. А все-таки не хочется идти в душную каюту, не хочется расстаться с этой тихой ночью.

Белые ночи, столь любимые северным жителем, на нас, не привыкших к ним, производили стран-

ное, сначала даже неприятное впечатление. Нервы, привыкшие отдыхать среди темноты нашей ночи, никак не улягутся при этом бледном сиянии. В северных ночах чего-то будто недостает. Но красоты их нельзя оспаривать. Так и теперь мы долго ходили по палубе, не будучи в состоянии оторваться от нее.

Все равно надо было лечь. В 3 часа утра пересадка. Пароход в 3 часа утра должен был прийти в Вознесение; оттуда нам предстояло направиться в Пудож.

Прямого сообщения между Петрозаводском и Пудожем через Онежское озеро не существует. Путешественникам приходится огибать озеро Онега, или направляясь из Петрозаводска в Повенец и затем спускаясь по восточному берегу Онежского озера,— или же, следуя избранному нами пути, доехать до Вознесения и оттуда, пересев на маленький пароход («Геркулес»), обогнуть южный и часть восточного берега оз. Онеги.

Пароход «Геркулес», совершающий рейс вдоль восточного берега Онежского озера, маленький и грязный, служащий больше для перевозки грузов, чем для пассажирского движения, ожидал в Вознесенской пристани прибытия петрозаводского парохода.

Команда его состояла, большей частью, из мальчиков. Эти мальчики, одетые одинаково в синие суконные курточки, в темных картузах, поражали своей ловкостью и выдержанностью, и вместе веселостью и бодростью. Оказалось, что это ученики мореходных классов, которые, готовясь в лоцманы, на «Геркулесе» имеют практические занятия летом. К сожалению, на этом пароходе они могут знакомиться только с одной частью Онежского озера, а именно с южным и восточным берегами его, от Вознесения до Повенца.

...Темной зубчатой стеной выделялся покрытый густым еловым лесом берег. Видно было устье реки Шалы, или Водлы, в которое должен был войти «Геркулес». Раздавалась команда с мостика; лоцман зорко следил за носом парохода. Некоторые из пасса-

жиров, знакомые с этой местностью, показывали на берегу несколько построек, принадлежащих стоящему тут же лесопильному заводу Русанова.

Размеры построек все увеличивались и увеличивались; все выше становились ели на берегу; Шала расширялась на наших глазах и тихо плыла нам навстречу. Вот мы уже и в устье ее. Пароход ударился о деревянную пристань.

И тотчас начинается шум, говор и крики на пристани. Некоторые входят на пароход, переговариваются с капитаном, стоящим на мостике.

Через 10 минут раздается резкий свисток, обозначающий отъезд.

Онежское озеро со своими бурными, свинцовыми волнами далеко осталось за нами. Отошли также вдаль лесопильный завод с его пристройками, с грудами правильно сложенных досок, с кучами опилок на берегу. Проехали и Шальский погост*. Мирно и тихо течет Шала; берега, покрытые лесом, довольно однообразны, но очень живописны; лиственные деревья не потеряли еще нежный желтовато-розовый оттенок, который они имеют при своем распускании, и, перемешиваясь с ними, даже темные ели теряют свой мрачный характер. Пароход часто лавирует; иногда он так близко подходит к берегу, что, кажется, ничего не стоит соскочить на сушу.

Начинает накрапывать дождь; но положительно не хочется уходить с палубы — и пассажиры только тогда решаются удалиться в каюту, когда дождь становится чересчур уже сильным.

Пароход не доезжает до самого Пудожа. Он останавливается у пристани Подпорожье, называемой так потому, что близко от нее во всю ширину реки лег порог, который и мешает дальнейшему плаванию по Водле.

Дождь все еще шел, когда мы после 8-часового плавания, считая от Вознесения, наконец, остановились в Подпорожье.

---

* Погостом в Олон. губ. называется место, занятое церковью и домами причта. Только редко погост соединен с деревнею. Обыкновенно он стоит отдельно от нее.

...Глинистая дорога вся размокла от дождя; лошади вязли в грязи, и медленно катился наш тарантас. Такое путешествие не могло быть особенно приятным; мы стали торопить нашего ямщика. Везший нас мужик, в ожидании парохода успевший подвыпить, хладнокровно стал успокаивать нас, говоря, что поедет скорее, как только дорога будет лучше.

Наконец началась, по его понятию, хорошая дорога. Разговоры прекратились; он выпрямился на облучке и ударил по лошадям. Лошади быстро понеслись. По нашему мнению, дорога была все такая же. Ноги лошадей скользили, не находя себе опоры в жидкой грязи. Комки размокшей глины то и дело летели на нас. Тарантас подпрыгивал, наклоняясь то на ту, то на другую сторону.

«Ведь ты так вывалишь нас»,— заметили мы ямщику.

«Небось-небось не опру́жу (не вывалю)»,— успокаивал он нас, оборачивая к нам широко улыбающееся лицо с плутовато подсмеивающимися глазами.

«Не опружу небось»,— повторял ямщик все с тою же плутоватой улыбкой, между тем как лошади во весь опор скакали по улице деревни Харламовской, привлекая к окнам любопытных.

«Не опружу»,— слышалось то же успокоение, когда лошади по отлогому скату мчали наш тарантас к берегу р. Шалы, или Водлы. Тут должна была быть переправа на пароме.

«Ишь, хорошо как — паром как раз сюда едет,— заметил ямщик.— А то уж очень долго ждать приходится».

Паром тихо плыл по реке. Наши лошади стояли смирно. Ямщик, соскочивший с облучка, стоял, опершись на перила парома, и с самодовольной улыбкой поглядывал на нас. Между тем на паром то и дело наталкивались короткие бревна, которые медленно плыли по течению, покрыв собою почти всю поверхность реки. Масса таких же бревен тихо покачивалась у берега, задержанная его извилинами.

«Лес гонят. Тут и русановский есть, и лебедевский»,— объяснили нам.

Здесь лес не сплочивается, как у нас, в большие плоты, которые плывут по реке под надзором нескольких мужиков. Срубив лес в северной части Пудожского уезда, его пускают плыть по озерам и рекам; через несколько времени приказчики с лесопильных заводов, которым принадлежит лес, вместе с нанявшимися для сплава мужиками, объезжают эти озера и реки и собирают остановившиеся где-либо бревна. Требуют, однако, чтобы в тех местах, где существует пароходное движение, лес не оставался несплоченным; поэтому, на известном расстоянии от Онежского озера, лес останавливают, разбирают (у каждого завода есть свое особое клеймо, так что перепутать лес нельзя) и связывают в плоты. Затем уже осторожно плавят его дальше, наблюдая, чтобы он не занимал собою фарватера.

Опять во весь опор несли нас лошади. Глинистая почва уступила место песчаной, и нас по крайней мере не забрасывало мокрой глиной. Дождь перестал; но в воздухе еще стоял серый сырой туман. Дорога шла то мимо засеянных пашен, то по густому лесу с болотистой почвой, то по краю крутого обрыва, склон которого порос елями и лиственными деревьями.

«Ты знаешь, где в городе живет Кошутин?» — спросили мы нашего ямщика. В Подпорожье нам сказали, что у Кошутина можно поместиться — о гостинице в Пудоже нет и помину, да и не для кого было бы держать ее.

«Да я самый Кошутин и есть»,— усмехнулся на нас ямщик.

«Ну, вот и хорошо. Есть у тебя две комнаты?»

«Есть две: одна большая, другая поменьше. Да вы посмотрите: коли понравится, остановитесь».

Потянулось ровное место; вдали виднелась масса серых домов; белая церковь с синим куполом выделялась из общего серого фона.

«Это что за село?» — спросили мы.

«Да это Пудога город и есть!»

«Вот так Пудож!» — невольно удивились мы.

* * *

Масса серых домиков совершенно однообразной постройки, напоминающих собою деревенские избы, вместе со скромным собором, ютятся на краю крутого обрыва, спускающегося к реке Водле. Вперемежку с домами идут огороженные пашни, засеянные овсом и рожью, реже огороды, принадлежащие обывателям. По прямым линиям пересекают друг друга узкие улицы, почти что сплошь заросшие травой. На улицах непробудный покой; на них мирно пасутся овцы, лениво переходя с одного места на другое; да ребятишки кое-где собираются около луж и со звонким смехом загорелыми ножками месят жидкую грязь. Спит весь город, спит с утра до вечера и с вечера до утра. В окнах, уставленных горшками с диким перцем, бобами и фуксией, редко-редко покажется чье-нибудь лицо. Но не подумайте, чтобы вас не видали, потому что вы шли все время по спящему городу или даже вовсе никуда не выходили. Вас видели; откуда, когда — вы этого не можете постигнуть; вас разглядели со всех сторон, про вас все знают. Но такова уже жизнь в провинции — с этим надо мириться. Сплетни, сплетни и сплетни — да что же другое и делать? Где же те интересы, которые могли бы пробудить нашу провинцию и заставить ее жить, хотя бы не напряженной деятельной жизнью столицы, а отвлечь ее по крайней мере от глубокого нравственного сна? Теперь Пудож спит, как и все самые плохие провинциальные городки. Напрасно бы вы искали обывателей на улицах — все пусто; даже на так называемой главной улице, которая отличается от прочих только тем, что на ней меньше травы и по сторонам сделаны деревянные мостки вместо тротуаров — и на этой улице никакого движения. Лавки — и те почти все заперты, и, только дернув несколько раз за звонок, вы можете вызвать из внутренних комнат самого торговца, который лениво отворит вам дверь, как бы удивляясь сам такому редкому явлению, как приход покупателя. Так, например, для того, чтобы найти щетку для чистки

платья, нам пришлось сделать целое путешествие по городу, заходя во все лавки, звоня и стуча во многие двери, пока, наконец, мы не нашли одну-единственную завалявшуюся щетку. Относительно оживленно идет торговля в лавке Базицкого, куда приходят многие крестьяне за нужными припасами. Базицкий знаменитый гражданин г. Пудожа. Имя его очень известно на Севере: он ведет большое дело и слывет «миллионщиком». В Пудоже среди приземистых домиков гордо возвышается, подобно дворцу, большой кирпичный дом его с красивым видом на круто извивающуюся Водлу. Базицкому же Пудож обязан и устройством богадельни. В Пудоже есть и больница и при ней аптечка — здание чистенькое, хотя и маленькое. Вообще здания казенные отличаются от остальных тем, что они окрашены преимущественно в светло-коричневую краску и выглядят чище и красивее. Недостаток жизни и ограниченность потребностей ощущается повсюду: почта идет только два раза в неделю, и это считается вполне достаточным; тому же можно приписать и вялость торговли; к тому же можно, пожалуй, отнести и то, что во всем Пудоже есть только один булочник, который взялся печь белые хлебы — да и то ему надо заранее заказывать их. Для развлечения обывателей есть библиотека, есть и клуб. В низеньких закоптелых комнатках мужчины играют в карты, барышни танцуют под звуки гармонии. Барышни скучают смертельно и жаждут прибытия какого-нибудь нового кавалера.

Первое место в Пудоже, конечно, занимают чиновники, которые держатся в стороне своим кругом. Остальное население исключительно составляют мещане и ссыльные. Было время, когда Пудож был почти буквально наводнен ссыльными полячками[9]. Между ними было много людей состоятельных; жизнь они вели на широкую ногу, устраивали балы и концерты. Городу жилось весело с этими невольными гостями. Теперь ссыльных в Пудоже относительно мало. Богатых нет вовсе, а положение ссыльных бедных очень тяжелое. Вспомоществова-

ние выдается им от полиции в размере 2 р.— 6 р. 50 к. в месяц. Понятно, что существовать на эти деньги нельзя. Летом многие из них отправляются на лесопильные заводы; но трудная работа на заводах не всем приходится по силам, и многие гибнут. Зимою бедствуют окончательно. В Пудоже работы нельзя найти, потому что в каждом хозяйстве есть достаточно своих рабочих рук. Редко кто из жалости даст пилить или колоть дрова, заработать в месяц 1 р. или 1 р. 50 к. значит, что неслыханное счастье привалило к удачнику ссыльному.

Так описывали нам бедственное положение ссыльных сами пудожане.

«И какие мы мещане? Мещане — что крестьяне. Всю работу крестьянскую справляем»,— так говорит про себя коренное пудожское население. И действительно, когда посмотришь на пудожских мещан: на их лица, костюмы, на их жизнь и обстановку — невольно приходит в голову вопрос, какими судьбами, за что из всего этого уезда жребий выпал именно жителям Пудожа, а не какого-либо другого селения именоваться мещанами.

Пашни за городом, пашни около домов — вот в чем заключается их главный интерес. Каждое утро мужчины выезжают на сохах и боронах за город; каждый вечер возвращается их пестрая толпа на утомленных лошадях. Женщины справляют дома работу, как и деревенские бабы: стряпают, ходят за скотом, возятся в огороде, ходят также на полевые работы. Это те же типы, что в деревне: рослые, сильные мужики, сильные, здоровые женщины, загорелые, лохматые дети в холщовых, реже ситцевых рубахах и сарафанчиках. В разговоре, конечно, обнаруживается большее знание городских слов, более широкий кругозор — петербургская культура с внешней стороны не осталась без влияния на Пудож, а отсюда разносится и по окрестным деревням. Пудожане пьют кофе, знакомы и с иностранными словами, видали многое — но в сущности остались такими

же невежественными, как и обитатели глухих углов Олонецкой губернии.

Дом Кошутина, у которого мы остановились, так же как и остальные дома пудожских мещан, чрезвычайно сходные с деревенскими избами — двухэтажный. Внизу — в так называемой «подызбице», живет семья хозяина. Наверху, в «горнице», спит сам Кошутин с женой. Другие комнаты наверху заняли мы. Кошутин — толстый, рыжий мужик, с плутоватой усмешкой, готовый подчас и обмануть кого можно, любящий выпить иногда, веселый в меру, осторожный и никогда не забывающий дела. Кошутина редко бывает видно дома: он то в лесу, или на поле за работою, то отбывает ямщину[10]. Ему деятельно помогает старший сын. Другие сыновья, два высоких рыжих мальчугана лет 12-ти и 13-ти, иногда подсобляют, но больше бегают с товарищами и, без умолку хохоча, подталкивая друг друга, врываются в избу, чтобы поесть, и затем с таким же шумом исчезают. Младшие девочки целый день возятся с подругами возле дома. У Кошутина есть еще дочь, 15-летняя Поля. Поля весь день на работе; зато и рада же она празднику. С утра причешется, умоет миловидное, немного капризное личико, достанет из своего сундука новый сарафан и кумачную с широко открытым воротом и короткими пышными рукавами рубашку — и куда какой красавицей идет на «бесёду»*. Поля уже невеста; не налюбуется на нее отец; мать и бабушка питают тайные надежды.

По внутренней лестнице я спустилась однажды в «подызбицу». В широкой комнате было тихо. На лавках и в углах лежало грудой наваленное платье, валялись инструменты и клубки нарезанной в ремни бересты. На столе остались неубранными деревянные чашки, ложки и корки хлеба. На одной из лавок сидела старуха в полинялом сарафане и платке. Она протянула на лавке ноги и, поставив между ними полугодовую девочку, заставляла ее выделывать руками разные движения.

* Так называется собрание молодежи в Пудожском уезде.

«Иди, иди пестовать внучку»,— сказала она, увидав меня, и протянула мне свою морщинистую руку. «Помогай бабушке».

И затем, обратясь снова к девочке, она начала подбрасывать ее, приговаривая:

«Марьюшко! Любанчик! Мань-ко! Хорошая девушка будет, парни любить будут. Скажи: ножки у меня славные, ручки большие — скоро сосватают! Любушка! Марьюшка! У Пашутки-то рот большой, большой — а у нашей Марьюшки рот, что у ласточки!»

Вошла 6-летняя девочка.

«Анко, что не уберешь со стола? Только и думаешь, что бегать. Помощница!» — улыбнулась она в мою сторону, когда девочка с опечаленным личиком, поглядывая в окно на резвящихся подруг, стала исполнять приказание.

С бабушкой мы скоро подружились. «Ах ты, боженая,— встречала она меня всякий раз,— иди пестовать»,— а сама улыбалась мне своим беззубым ртом. Бывало, сидит бабушка около зыбки — сама чинит платье семейных, а ногой раскачивает колыбель[11]. Раскричится девочка — бабушка тотчас затянет колыбельную песню — «байканье». Но обыкновенно бабушка беседовала со мной. Рассказывала про свою молодость, про Полю, как она ходит на бесёды, как девушки играют там с парнями, про нашего хозяина, своего ненаглядного Пешу, который один остался у нее; наконец тихонько поверяла мне свои невзгоды, свои ссоры с невесткой. Обыкновенно в комнате не было никого. Изредка только прибегали за чем-нибудь дети или приезжал на время сам хозяин. Хозяйка была больна и по большей части лежала в «горнице». Старуха, на обязанности которой теперь лежало самое легкое, по понятиям домашних, дело: смотреть за детьми, наскучив сидеть все одна с внучкой, была, без сомнения, рада хоть какому-нибудь обществу.

II
НА ОЗЕРЕ КУПЕЦКОМ

Медленно двигалась наша телега по глинистой, вязкой дороге. Хмурое небо глядело на нас в узкую просеку. А то все лес кругом — густой, непроходимый лес. Сорок верст лесом — вот дорога на озеро Купецкое. Сначала березняк, потом сосна и ель. Высоко к небу устремились зубчатые верхушки, а внизу так густо переплелись нижние ветви, что, кажется, только с помощью топора можно пробраться сквозь эту темную сетку. По обеим сторонам дороги лежат простертыми могучие великаны леса; срубленные во время проведения дороги, они медленно гниют здесь. Жесткая, наполовину болотистая, наполовину лесная трава, мелкорослый ивняк да мох покрывают бывшие когда-то мощными стволы. Тут и там попадаются вывороченные с корнями деревья — целыми рядами лежат они. То жертвы вихря, когда он со страшным ревом проносится по лесу. Лес тогда шумит, гнется, стонет; то и дело слышится треск не устоявших деревьев, шелест зацепившихся за соседнее дерево могучих ветвей — лес оживился.

Но теперь все тихо кругом — безмолвье, безлюдье. Едешь десятки верст, не встречая не только ни одного селения, но даже ни одного человека. Зато как обрадуешься, когда на половине дороги издали заметишь человеческую фигуру. То олончанин, пробирающийся из одной деревни в другую, или идущий на свои пашни, или вышедший, по распоряжению старшины, чинить дорогу[12]. Суровой, но сильной

кажется вся его фигура, облеченная в белесоватый армяк; голова и шея покрыты «кукелем»*, за спиной «крошни»**, в мускулистых, жилистых руках пила, заступ или другой инструмент.

Иногда на краю дороги увидишь так называемую «артель» пильщиков — два мужика вместе согласились напилить себе досок. Кроме кукеля, они надели себе на лица сетки, зажгли костер рядом, чтобы избавиться хоть немного от комаров. То выскакивает из-за густого синеватого дыма, то внезапно исчезает за ним быстро движущаяся пила; резкий лязг слышен еще издали.

Нет, лес не мертв. Следы пребывания в нем человека заметны. Тут и там догорает еще не совсем остывший костер; среди густой сени леса скромно поднимается крыша низенькой лесной избушки, или «фатерки»***; чуть заметная тропа убегает в чащу. Трудна борьба с лесом, окружившим со всех сторон олончанина; зато природа наделила его всеми качествами, необходимыми в борьбе с ней самой: смелостью, упорством, энергией и находчивостью.

Кто видал пашни в лесу — так называемые «лядины», кто знает, что такое «лядиное», или подсечное, хозяйство, тот не станет сомневаться в силе воли олончанина.

Вот что такое эта «работа в лисях», о которой сами крестьяне говорят как о самой тяжелой работе. Довольствоваться наделом пахотной земли близ своего селения олончанину положительно нет возможности: он слишком мал — всего $^{1}/_{3}$ десятины на душу[13]. Вот почему ранней весной, едва только сойдет снег, олончанин уже отправляется в лес выбирать себе место для лесной пашни, так называемой «лядины». Обыкновенно выбор его падает или на лесную по-

---

* «Кукель» — холщовый мешок, надеваемый на голову и предохраняющий от укушения комаров и мошек.

** «Крошни» — из бересты сплетенный мешок для переноски тяжестей и для сохранения припасов.

*** «Фатерки», или «лесные избушки», ставятся в лесу для ночлега крестьян, уходящих в лес на работу, иногда на целую неделю. В них находят себе приют и запоздавшие охотник и путник.

ляну, куда легко и удобно было бы свести побольше валежнику, или же на место, поросшее осиной, березой, вообще лиственными породами. Просохнет немного земля — и вся семья крестьянина отправляется на работу. Идут молодые и старые, женщины и подростки. Женщины вооружаются так называемыми «женскими топорами», или «косарями» (длинный согнутый нож, у которого лезвие находится с внутренней стороны), и для удобства переодеваются в лесу в мужской костюм*. Уходит семья из дому в понедельник, обыкновенно на целую неделю. С шутками, смехом и говором уходят в лес эти неутомимые работники; еще веселее они возвращаются домой. В лесу работа кипит с утра до вечера. Рубят маленькие деревца, срубают нижние и верхние ветки с больших деревьев. На ночь возвращаются домой только в том случае, если своя деревня близка. В противном случае ночуют в «фатерке». Она обыкновенно тесна и низка до того, что стать в ней взрослому нет никакой возможности. В эту-то «фатерку» вползают рабочие и здесь находят ночной приют. Но бич олонецких лесов — комар и мошка, мучившие их в продолжение целого дня, зачастую не дают им уснуть. Часто, потеряв терпение, олончанин зажигает березовую ветку и накалившимися листьями прижигает свои раны. Часто за десятки верст он бежит в свою деревню попариться в бане — единственное почти средство, по мнению крестьян, облегчить эти ужасные страдания.

Кончилась подготовка работы на лядине: срубание веток и деревьев — и олончанин оставляет ее до будущего года. Получившаяся куча валежника успевает высохнуть до следующего лета. Тогда снова является сюда хозяин ее с домашними; лядина поджигается со всех сторон; горит валежник, коробятся и трещат листья, искры взлетают вверх — и среди этого пламени, среди едкого густого дыма ходят владельцы лядины, переворачивая сучья и бревна,

* Так же поступают и при рыбной ловле, когда женщине подчас приходится входить по пояс в воду.

не давая гаснуть огню до тех пор, пока не испепелится весь валежник. Эта работа, большей частью, отражается на глазах, которые потом страдают воспалением.

Вспахивают лядину сохой особенного устройства, которая неглубоко забирает землю. Боронуют особенной, олонецкой бороной, сделанной из толстых сучьев сосны, снабженных многочисленными мелкими сучками. Такие сучья расщепляют и обращают всеми сучками вниз, которые таким образом заменяют железные зубцы нашей бороны.

Много труда стоит олончанину его пашня, но она вознаграждает его хорошо, возвращая ему его посев иногда сам-20[14].

По своему внешнему виду лядины с особенной мягкой сероватой зеленью, свойственной злакам, сквозь которую проглядывают черные, обгоревшие пни, с высоко выдвигающимися белыми и серыми стволами берез и осин представляют вполне оригинальную картину.

...Но вот после долгого пути сосновым бором местность принимает более веселый характер. Лиственный лес так свеж, так сочен. На прозрачном вечернем небе покоятся недвижные листья. Закат золотит верхушки леса; ниже лучи его не могут проникнуть сквозь густую зеленую чащу; иногда только за поворотом дороги, сквозь более редкие деревья, мелькнет оно, и сноп золотых лучей внезапно ослепит глаза. Спит темная неподвижная вода в маленьких болотцах по краям дороги. Уже покрылись тенью мелкорослые березы и ивы, торчащие из них, и густая трава на опушке. Ландыши в полном цвету — сильный сладкий запах их сопровождает нас. Вечерняя сырость начинает чувствоваться в воздухе.

Вдали заблестело озеро Купецкое. Точно зеркальце, брошено оно среди березовых рощ. На берегах серыми пятнами выступают деревни. Высоко поднимается белая колокольня «погоста». Все контуры сливаются в мягком свете заката. Небо бледнеет — все готовится к тихой белой ночи.

Вот потянулись уже изгороди. По дороге встречаются группы баб и мужиков, возвращающихся с работы. Вот уже промелькнули первые избы деревни Авдеевской. Сразу осаживает ямщик лошадей перед волостным правлением[15] Авдеевской волости.

Печку в избе только что затопили и отдушину еще не открывали[16]. Густой дым стоял в комнате; едва заметно передвигались его синеватые, прозрачные волны. Какие-то лица с любопытством оглядывали нас, какие-то фигуры выступали в полумраке. Их прибывало с каждой минутой: вся деревня бежала в дом волостного правления. Мы между тем сидели во второй комнате, т. н. «горнице», в ожидании хозяев, которых не было дома. Ежеминутно в дверях показывались новые лица.

Высокая женщина сердито прогнала, однако, большинство посетителей.

Я вышла в первую комнату, «фатеру». Меня тотчас же обступило несколько баб и детей. Стали разглядывать платье, обувь, часы — все. Схватились за браслет.

«А это что?»

«Точно перстенечек, вишь — только на руке носит. У нас того нет».

«Ты — большуха?»[17]— спросила я ту высокую сердитую женщину, которая избавила нас от любопытства своих односельчан.

Ее немного передернуло; рука быстро оставила мой браслет, занимавший ее до сих пор, и она, отвернувшись, проговорила:

«Большуха рыбу ловить пошла на озеро. Кто ж и пойдет? Мы в лисях были — устали».

Впоследствии только мы узнали, что большуха и она сильно враждовали между собою.

«А где же хозяин?»

«В байне[18]; все они теперь в байну пошли. А потом мы, бабы, пойдем. У нас почитай кажный день байну топят».

Пришел наконец сам хозяин. Высокий, слегка сгорбленный старик, с печатью достоинства на

лице, обрамленном прямыми седыми волосами и седой бородою, с умным и проницательным взглядом, он производил крайне приятное впечатление. В волости он пользовался большим уважением. Его дом — полная чаша, и «гоститься» с ним, то есть водить с ним знакомство, считалось большой честью. У него всякий находил гостеприимный приют. Долгое время он был волостным старшиною, пока сам не отказался от этой должности. Но и до сих пор его слова и совет имеют большой вес. Он помнит хорошо Гильфердинга[19].

Узнав о прибытии гостей, он немного только смутился, натянул на себя «пинджак», так как быть в одной рубашке без «пинджака» считается не совсем приличным, и наконец предстал перед нами.

Четверть часа спустя он ласково, хотя серьезно, беседовал с нами за кипящим самоваром.

* * *

Семья Мошниковых — так звали наших авдеевских хозяев — состояла из десяти членов. Это была так называемая «большая семья», где жили вместе дети трех умерших братьев. Во главе стоял сын старшего брата, Феодор Гаврилович — большак. Феодор Гаврилович уже стар, женат во второй раз на молодой вдове лет 29—30 — Авдотье Феодоровне. У него нет детей. Но жена его не тужит об этом. «Да и к чему дети? только лишняя забота. У нее и без того дела много». Она помогает мужу в его красильне (Феодор Гаврилович берет на дом холст и красит его в кубовый цвет[20] с разными рисунками, по 1 к. за аршин[21]). Кроме того, она большуха — нужно стряпать на всю семью, надо суметь распределить всем работу. Большуха должна не только быть дельной, умной и работящей, но ей необходим еще такт в обращении со всеми членами семьи. Авдотья Феодоровна держит мужа в руках: он следует ее советам; она даже взяла ключ от сундука, где у него хранятся деньги, и порой осмеливается требовать от него отчета в затрате их. Но к чему ей показывать явно свою власть и тем

вооружить против себя самолюбивого мужа? Авдотья Феодоровна, как большуха, может всех заставить делать что хочет. Но она делает это ласково, приветливо. Она даже поступится иногда своими правами: пойдет ловить рыбу, доить коров, дать корму овцам, вместо того чтобы поручить это кому-нибудь. Она никогда сразу не выскажет своей мысли, не узнав сначала мнения и расположения собеседников; иногда она отделывается резким, сдержанным смехом, звучащим неприятно, неестественно, или протянет полувопросительное, полуутвердительное «ну». Авдотья Феодоровна образцовая хозяйка: все у нее в порядке, все чисто, всего вдоволь — дом Мошниковых ставится в пример в окрестных деревнях. Сама она оживленная, вечно веселая, вечно в хлопотах. Одаренная в высшей степени практическим умом, она еще потому получила навык в обращении, что в их доме всегда останавливаются проезжие чиновники. Ходит она в простом ситцевом сарафане, с низко открытым воротом и широкими короткими рукавами выше локтя. Ключи, обыкновенно вверяемые только большухе, привязаны к помочам сарафана и спрятаны за пазухой. В праздник надевает она шерстяной сарафан и сверху закрытую кофту, потому что «не ладно так-то в рубашке». Есть у нее и «подзор»* на голову, богато шитый жемчугом; но он бережется только для самых больших праздников.

Большая семья на первый взгляд производит замечательно приятное впечатление стройности и порядка, конечно, если во главе ее стоят умные большак и большуха. Вы видите перед собою огромную машину, в которой отдельные колеса, блоки и винты движутся постоянно в определенном для них пространстве, не задевая друг друга. Каждый имеет свое назначение, а вместе с тем получается стройное целое. Рано утром встает семья и тотчас требует «обеда». Большуха накормит их, даст хлеба в запас, и вся

* «Подзор» — женский головной убор, обыкновенно украшенный местным жемчугом. (В Олон. губ. в реках водится мелкий жемчуг; в Пудож. у. жемчуг привозят также из Арханг. губ.)

семья отправляется на работу. Большак и большуха в богатых семьях остаются дома. Стряпать на всю семью — эта обязанность лежит исключительно на большухе. «Я пять лет хлебы пеку» равносильно выражению: «я пять лет состою большухой». В богатой большой семье, где не дорожатся каждым куском, стряпать приходится много: каждый день печь хлебы и «рыбники»*, замешивать огромное количество сырого теста**, по праздникам изготовить на всю семью пироги с толокном[22] и оладьи, калитки***, крендели и овсяные блины. Аппетит у всех этих работников уравновешивает израсходуемые на трудной работе силы. Но все-таки работа большухи может считаться отдыхом в сравнении с трудом прочих членов семьи. Кроме того, у нее остается еще много свободного времени, которое она может употребить на себя. Но вот наступает вечер, и возвращается из лесу утомленная семья. Сбрасывают с отекших ног берестяные лапти; крошни и топоры живо складываются в сторону; армяки летят на лавки — семья прежде всего требует есть. Теперь наступает черед большухи. Быстро ходит она взад и вперед, тащит горшки с сырым тестом, достает свою стряпню из печки. Надо не только накормить семью — надо и убрать за нею оставшиеся куски, вымыть посуду, приготовить «мякушек» (круглые черные хлебы) на завтрашний день. Иногда, кроме того, приходится топить баню. Другие члены семьи не вмешиваются в эти дела, не помогают большухе; иногда даже шутливо торопят ее: теперь настал их черед отдыхать, а ее черед работать — все это в порядке вещей.

Так с внешней стороны стройно и гармонично идет жизнь большой семьи. Не то на самом деле. Неравенство отношений между отдельными членами, большие права большака и большухи, с одной

---

* «Рыбники» — пироги с запеченной в них рыбой.

** Сырое тесто — замешивается овсяная мука с водой; ее оставляют киснуть весь день; это кислое тесто составляет одно из любимых кушаний крестьян Пудожского уезда.

*** Калитка — лепешка из гречневой муки с пшеном, имеющая вид ватрушки; очень пресна на вкус.

стороны, и масса обязанностей подчиненных членов, с другой, дают себя чувствовать и отзываются на взаимных отношениях. Возникает недовольство друг другом — мелкие дрязги, интриги ведутся в этом маленьком мирке. Исключены из них разве маленькие дети, к которым олончане вообще чувствуют большую нежность.

Феодор Гаврилович бездетен. После его смерти место большака займет его братан (двоюродный брат), Авериан Маркович. Он тоже уже старик — с виду очень добродушный — избегает разговоров в присутствии Феодора Гавриловича. Можно подумать, что он не умен. Стоит, однако, уйти Феодору Гавриловичу, как язык у него развяжется, и он выскажет такие здоровые, серьезные мысли, каких вы никогда не ожидали от него. Его жена держит себя также в стороне. Она высокая, сухощавая баба, вечно старается сказать колкость Авдотье Феодоровне, и злобно сверкают ее злые серые глаза всякий раз, когда при ней оказывается какое-либо предпочтение большухе. Видно, что властолюбивый, сдержанный характер ее вконец испортился в этой глухой борьбе, и она хоть в мелочах старается выказать свою самостоятельность. Она рано или поздно будет большухой и тогда сумеет выместить на Авдотье Феодоровне свое теперешнее унижение.

Помню, раз вечером, мы с хозяйкой стояли на крыльце. К нам подошла молодуха, недавно только вышедшая замуж за одного из братанов хозяина, Ефима, и сестра этого Ефима — Ганя, 30-летняя девушка, не вышедшая замуж вследствие прирожденной глупости.

«Знаешь что? — смеясь, сказала мне хозяйка.— Ганя наша в Питер собирается».

«А что? Не пойду, думаешь?— пойду, что тут-то делать?» — ответила Ганя.

«Пойди ты, дура, куда уж тебе в Питер? Из Питера к нам солдатка пришла,— наболтала ей,— обратилась хозяйка ко мне.— Теперь собирается».

«Да беспременно уйду — твой-то не век проживет. А с той-то, большухой, проживешь нешто?»

Лицо хозяйки сделалось суровым. Молодуха беспомощно взглянула на нее.

«И ты со мной пойдем — тебе что тут делать? Большухой-то небось она будет»,— энергично замахала руками Ганя.

«А что делать? Вот что: красить буду. Думаешь, задаром училась?» — со сдержанным спокойствием сказала хозяйка.

«Думаешь, не знаю, что ли? Шла, так знала, что недолго проживет мой-то. Уйду от вас — красить сама буду»,— продолжала она.

«Дунюшка!» — послышался из сеней голос большака. Улыбка, несколько принужденная, появилась на лице Авдотьи Феодоровны, и она кинулась на зов.

Как мало истинного сочувствия существует теперь между членами семьи, это показало нам следующее происшествие. Молодуха, сильная и здоровая женщина, внезапно захворала лихорадкой. Только муж ее, Ефим, сильно беспокоился о ней. Ему нельзя было не идти в лес на работу, а покинуть молодую жену было тяжело. Ефим — мужик, 27 лет. Тихий, безответный, углубленный в себя, он всю жизнь бегал от девушек, пока наконец, посланный зачем-то в Шальский погост, он не полюбил вдруг веселую, бойкую Хавронью. Ефим и теперь ни на кого не смотрит, избегает всякого общества и не наглядится на жену. Тяжело было ему оставлять больную Хавронью. Она вся в жару лежала на скамье у двери и громко стонала. Никто не обращал на нее внимания. Большуха сердито ходила взад и вперед.

«Что, не знаю, что ли? Тоже ведь: любит поохать. Работать в лес не надо ходить. Ну и поваляется».

Фельдшер, за которым послали по нашим убеждениям, прислал сказать, что он знает, что это лихорадка, но так как хины ему не прислали из городской аптеки[23], то он и считает излишним прийти. Послали сказать фельдшеру, что хина есть у нас. После этого фельдшер стал навещать молодуху каждый

день. «Так-то при вас он ходит»,— сообщили нам. «Нешто так часто стал бы ходить? Иной раз зовешь его — кланяешься — не идет». Надо заметить, что фельдшер живет тут же рядом.

Молодуху приходили навещать соседки. Они чаще всего соболезновательно качали головой, сидя у ее изголовья, и удивлялись, как это вдруг попритчилось с ней. Многие приносили ей гостинцев — моченой брусники и клюквы, пироги с толокном и т. д. Молодуха тщательно прятала все это от большухи под лавкой или под изголовье, так как знала, что фельдшер предписал ей строгую диету. Ничто, однако, не могло убедить ни ее, ни баб не делать этого. «Вы там по-своему — мы по-старому, по-нашему»,— важно отвечали на наши представления бабы.

Но если члены большой семьи так страшно враждуют между собой и в мелочной борьбе стараются выдвинуть вперед свои собственные интересы, то надо им отдать справедливость — они исключают из этой общей вражды детей. Этих младших членов семьи все любят, все балуют — в них точно все находят отраду жизни.

В семье Мошниковых не было детей совсем маленьких — были только подростки.

Вот растет будущий большак в лице 11-летнего Павлухи, сына Аверьяна Маркыча. Тоненький мальчик, с правильными чертами лица и светло-карими умными глазами, Павлухо смотрит таким счастливым, таким довольным, каким можно выглядеть только при действительно хорошей жизни. Нежно поглядывает на него отец подслеповатыми, мигающими глазами; даже холодное, вечно недовольное лицо его матери проясняется при его виде. Феодор Гаврилович с важностью, как бы неохотно, но с затаенной гордостью говорит: «Ничего паренек — вот грамоте научился, второй год теперь в училище ходит».

«Помощник,— улыбается Авдотья Феодоровна,— как же? — помогает в работе: бороновать ездил сегодня».

Павлуху не принуждают работать: он еще маленький в глазах семейных; кроме того, у Мошниковых нет нужды в рабочих руках. Он сам взялся за боронованье, и хотя отец и Феодор Гаврилович, как будто мимоходом, замечают: «Попривыкнет помаленьку так-то» — можно легко по их тону заметить, что они видят в этой решимости мальчика работать выдающееся качество. И стоит посмотреть на Павлуху, когда он, окончив свою работу, возвращается домой, победоносно восседая верхом на лошади и стараясь всеми силами показать, что он не придает никакого значения только что оконченному делу, между тем как все его лицо сияет гордостью и торжеством.

Павлуху часто видишь дома — всего чаще старается он подогнать свое возвращение домой ко времени чаепития семьи. До чая он страшный охотник. Все это знают и подчас дразнят его этим.

«Такой-то любитель у нас — сколько хочешь выпьет,— смеется, бывало, Авдотья Феодоровна.— Так ведь, Павлухо?»

Павлухо ничего не отвечает, но оборачивается к окну, между тем как в его глазах уже блестят слезы обиды.

«Он ведь у нас плакса — ото всего плачет. Павлухо, хочешь еще чаю?»

Павлухо, обиженно отвернувшись, вытирает слезы, но все-таки подает пустую чашку большухе. Со слезами же он принимает ее обратно, со слезами дует на горячий чай и пьет чашку за чашкой.

И никто не бранит мальчика, никто на него не сердится — только снисходительно подчас кивают на него головой: «Мал еще — глуп».

Сверстница Павлухи 13-летняя Марьюшка пользуется сравнительно меньшей любовью семьи.

Она сестра придурковатой Гани, именно вследствие этого не вышедшей замуж, и семья знает, что и эта девочка подает мало надежд и, пожалуй, подобно 30-летней сестре останется на ее руках. Это худенькая, стройная девочка, дикая и недоверчивая, принимающаяся с жаром за работу, но скоро

утомляющаяся. Белокурые волосы, которые она редко причесывает, несмотря на частые замечания Авдотьи Феодоровны, то и дело выбиваются из-под головного платка; черные глаза то сверкают смелостью и веселостью, то принимают внезапно печальное утомленное выражение; губы всегда плотно сжаты, будто боятся проронить лишнее слово; если же они внезапно раскроются для веселого, порывистого смеха, вас ослепят своей белизной крепкие, правильные зубы. Марьюшка уклоняется от всякой ласки; недоверчиво, кажется, относится ко всей семье. Вся отрада ее жизни заключается в игре в мяч, в которой она достигла совершенства и которой предается со страстным увлечением. Любит она также и купанье со сверстницами и другие забавы, где можно показать свою удаль и ловкость.

Но вот и третий подросток — 15-летний Ваня. Каким образом попало в эту семью, среди чисто великорусских лиц, это финское лицо? А оно чисто финское: бледное с отвислыми губами, с глазами светлыми, почти белыми, обрамленное прямыми волосами, жесткими и желтыми. Но в этом лице, не носящем на себе отпечатка особенного ума, было так много самой добродушной веселости, что его любили все. Для него все как-то живее делалось, чем для других: ему скорее подавали есть, ему плелись лапти, с особенным удовольствием чинилось платье. И Ваня, принимая все это как должное, часто понукал других сделать ему то или другое; но он делал это так весело, так безобидно, что никто не думал сердиться на него. Да и потеха была с этим Ваней: никто не смеялся так весело, как он; никто так не насмешит вовремя кинутой шуткой, кстати сказанным словом. Ваня, кроме того, отлично играл на пастушьей трубе, умел играть и на гармонии.

«Эх ты, Ваня, какой!» — толкнет его, бывало, в бок молодуха Хавронья после какой-нибудь выходки Вани,— и все лицо ее дрожит от смеха. Кругом сидят другие члены семьи, и все довольны случаю посмеяться.

«Ишь ведь, какой он у нас вострый. Думаешь что? Ефим у нас, бывало, и на девушек не глядел, а у этого всего и дум, что о «бесёде»,— не таков будет»,— говорила мне Авдотья Феодоровна, с улыбкой указывая на Ваню.

* * *

Мы скоро сблизились с нашими хозяевами. Происходили ежедневно взаимные угощения: нас поили кофеем*, сваренным в горшке, кормили «сычнями» (соченки) с сахаром, толокном, овсяными блинами, оладьями — одним словом, всеми праздничными кушаньями; мы, в свою очередь, угощали чаем с вареньем и белым хлебом, привезенным из города. Даром, что хлеб успел уже почерстветь — он все-таки был в диковинку деревенским жителям. Одна старуха просила нас дать ей хоть корочку этого хлеба, чтобы отнести своей больной дочери. При чаепитии соблюдались известные формальности. Сидеть ближе к переднему углу считалось большой честью — от нее скромно отказывались, но бывали очень рады, если настаивали на упрашиванье. Женщины сидели отдельно, за другим столом, если присутствовали мужчины. Кажется, очень удивлялись, что я садилась рядом с братом. Впрочем, чаще всего я подсаживалась к женщинам, что доставляло им большое удовольствие. Пили помногу — по 10 или 12 стаканов без остановки. Класть сахар в чай считалось также бóльшим почетом, чем давать его вприкуску.

С большухой я часто предпринимала длинные прогулки. «Погоди,— шепнет она мне, бывало,— коль мой-то с брателкой твоим — красить, значит, не будет. Пойдем и мы с тобой». Или в другой раз: «Погоди, уберусь я маленько — ужо, пойду с тобой». Через 5 минут уже видишь — летит Авдотья Феодоровна. «Пой теперь! Теперь можно!» Одернет быстрым дви-

* Употребление кофе в Пудожском у. быстро распространяется. Он пришелся по вкусу пудожанам. Случается, что бедные ходят просить у богатых «на кофе».

жением сарафан, возьмет меня под руку — и мы уйдем за деревню.

Озеро Купецкое не велико*, но, окруженное довольно возвышенными берегами, необыкновенно красиво. Все оно, с лесами, окружающими его, с деревнями, ютящимися на его берегах, как-то миниатюрно и изящно. Сколько раз оно, бывало, изменит свой вид, сообразно погоде и освещению. Прелестно оно, когда яркое золото утренней зари зальет его. Пожалуй, еще красивее, когда вдали, за березовой рощей, садится солнце — небо бледнеет ежеминутно, принимая лиловато-розовый оттенок на западе — и весь небосклон со своими изменчивыми, но нежными тонами кажется опрокинутым на недвижной, готовящейся к ночному отдыху глади. Но вот просыпаешься утром, бежишь к озеру, еще полная впечатления вчерашнего мирного вечера — и не узнаешь его. За последней избой ударил в лицо сильный порыв северного ветра — он прерывает дыхание, леденит своими холодными объятиями. А озеро — что сталось с ним? Свинцовые волны, увенчанные зловещими белыми гребнями, несутся к берегу. Свинцовое небо мрачно повисло над головой; на его темном фоне величественно выделяется белая колокольня Бураковского погоста. Шумит, ревет озеро — неприглядно, неприютно. «Северик дует — и рыбу ловить нельзя ехать»,— говорят мужики, у которых нет больших лодок, способных выдержать такое волнение.

За самой деревней Авдеевской идут пашни. Не тянутся они до горизонта зеленым волнующимся морем, как у нас,— столько места лес не уступает олончанину. Тут же темной стеной стоит он на страже, ограничивая ту небольшую равнину, на которой расположены пашни. Но и этому небольшому сравнительно клочку земли, который предоставлен им, они придали необыкновенно свежий, привлекательный вид. Как мягко сквозят солнечные лучи сквозь их низкую еще зелень; какими прелестными тенями

* Около $4^1/_2$ вер. в длину.

пробегают по их волнующейся поверхности гонимые ветром облака. Дальше тянется лес, местами лиственный, местами хвойный. А там, пройдешь версту, другую — начинаются уже изгороди соседней деревни, пойдут опять пашни вплоть до изб.

Большуха водит меня всюду. Показывает баню, амбар*, в котором стоят огромные сундуки с толокном и мукой всех родов и где на полках рядами положены высушенные и прессованные сыры,— водит на огород, засеянный репой, и с особенной гордостью указывает на картофель, который относительно недавно начал прививаться среди пудожских крестьян.

«А в роще нашей была, где часовня? Вот куда тебя надо сводить».

Замечательно, что окруженные со всех сторон лесом крестьяне с такой любовью относятся к небольшой, состоящей из нескольких деревьев рощице, окружающей часовню. Такую любовь к этим так называемым «священным рощам» мы замечали и в других местах. Обыкновенно наше внимание обращали на эти рощи, указывая на их красоту. Некоторые из них, действительно, отличались своим живописным местоположением, как, например, священная роща около деревни Шишкино на Кенозере. Другие ничем не отличались, но народ все так же восхвалял их.

Наряду с любовью к своим священным рощам среди крестьян замечается и большое уважение к ним. В священной роще никто не смеет рубить деревьев. Нередко случалось нам слышать рассказы о том, как посягнувшие на деревья таких рощ были наказаны отнятием рук или ног. Замечательно также, что иногда разрастающейся роще крестьяне дают место, даже если отростки деревьев вырастают на пахотной земле. «Гулянки», т. е. собрания молоде-

* Бани в Пудожском у. строятся двумя-тремя хозяевами вместе. Возят лес и строят сообща; топят же по очереди. Бани представляют из себя просто деревянный сруб, с земляным полом и со сложенной в одном углу каменкой. Амбары, где хозяйки хранят свои припасы,— низкие строения, в которых, однако, умещаются два этажа, оба заставленные огромными ящиками для хранения муки, зерна и проч.

жи в день праздника церкви или часовни известной деревни, также чаще всего происходят в этих рощах.

Нет сомнения, что тут мы имеем дело с местами, освященными раньше языческими святилищами, теперь же христианскими часовнями. И как раньше во времена язычества на этих местах происходили гульбища, так и теперь молодежь идет веселиться под сень той же самой рощи, не подозревая об ее прежнем значении. Может быть, многие из этих рощ недавнего относительно происхождения: народ, вспоминая старину, насаживает деревья вокруг новопостроенной часовни, и таким образом образуется новая роща. Иногда вокруг часовен расположено и кладбище — чаще же всего часовня стоит одна посреди рощи. Праздник того святого, в честь которого она построена, глубоко чтится и считается праздником деревни, подобно храмовому. Иногда, если роща находится около воды, служится молебен с водосвятием, и народ тотчас после освящения воды бросается в струи озера купаться «для здоровья». Эти купанья происходят не только летом, но и зимой, если праздник приходится в зимние месяцы. Преимущественно же купанья происходят в следующие дни: в праздник первого Спаса[24], или, как тут называют — в Спас-Маккавиев, в Крещение, в дни памяти св. Макария Унженского (26 июля), св. Пахомия (8 сентября), Тихвинской Б.М.[25], Иоанна Крестителя[26] и на Николу вешнего и осеннего[27]. Купаются по «завещанию», т. е. по обету, который иногда дают и за малолетних детей и который эти последние должны свято хранить. Иногда обет купаться в известный праздник дается на целую жизнь, и связанный им пудожанин идет иной раз за десятки верст в отдаленную деревню на праздник, чтобы исполнить его.

Авдеевская роща, состоящая из нескольких елок, темные хвои которых прекрасно сочетаются с зеленью нескольких берез, скрывает под своей густой сенью маленькую деревянную часовню, выкрашенную в темную охру; тут же течет родник. По шатким деревянным ступеням, усыпанным сухими иглами,

входишь в часовню. Через узкое решетчатое окно падает в нее скудный свет. Образа старинные, по всем вероятиям староверческого происхождения, иногда с апокрифическими сюжетами: Егорий Храбрый, освобождающий царевну от змия, Воскресение Христово с изображением Илии и Еноха, сидящих за круглым столом в раю, и разбойника с осьмиконечным крестом в руках, который «прииде ко вратам св. рая, и возбрани ему оружие пламенное; он же показав крест и вниде в светлый рай». Тихо в часовне, тихо и в роще. Журчит только родник, вырываясь из земли, да иногда тяжело упадет на землю еловая шишка и с сухим треском покатится по желтым иглам.

Иногда во время этих прогулок встречаешь следующие картины: бабы с подоткнутыми юбками, с «косарями» в руках и с крошнями за спиной, идут в лес на работу; мужик едет куда-нибудь верхом, сидя при этом боком на лошади; кладь везут на пошевнях[28]; тащась по сухой глинистой дороге, отчаянно скрипят полозья. Вообще колесные экипажи встречаются в малом количестве среди пудожан. Конечно, на каждой станции, даже самой маленькой, найдешь тарантас; бывают и телеги, иногда, правда, с колесами совсем примитивного устройства. Большею же частью кладь возят на пошевнях летом, так же, как и зимой. Недостаток колесных экипажей объясняется очень легко: пути сообщения весьма плохи; иной раз из одной деревни в другую можно проехать только верхом. Такова, например, дорога в отдаленную и бедную дер. Коппельозеро, которую народ в насмешку зовет «Питером». «На Коппельозеро проехать — святым сделаешься»,— смеются пудожане. В иных местах в сухопутных путях сообщения нет нужды. Селения, разбросанные по берегам больших озер, пользуются водным путем.

С хозяйкой мы ведем длинные разговоры. Говорит больше она: рассказывает про «гулянки» и «бесёды», передает деревенские сплетни. Часто говорим мы и про лесных и домовых духов, про злого баенника

и про доброго овинянника. Сначала она избегала подобных разговоров; но когда я ей сама сообщила несколько разнообразных «страшных историй», она стала откровеннее.

«Вон хоть господа и бают, нету того — а есть»,— сказала она, вдруг сделавшись серьезной.— «Кто скотинку-то уводит, да кого и так заведет в лисях?» — прибавила она таинственным полушепотом.

«Ведь вот что было со мной. Работали мы в лисях — я тогда еще за первым мужем была, не большухой. Жарко было, страсть — я и выкупалась в лисях. Сделалось со мною что после этого, не знаю — разнемоглась я совсем. И к фельдшеру я уж ходила, и к «бабушке» — тут ворошунья была одна — ничто не берет «Значит,— говорит она мне,— прощаться надо пойти». Пошли мы с ней, значит, к тому самому месту, где купались. Велела она за собой говорить: «Царь лесовый и царица лесовая и лесовые малые детушки, простите меня, в чем я согрешила». И как скажем, так и поклонимся с ней. А как в третий раз сказали, как зашумит что-то, словно выстрелил кто рядом. Уж после того лечить меня стала «бабушка» и вылечила».

Чаще всего ее рассказы касались лесного царя. Неудивительно, что лес, обступивший со всех сторон олончанина,— этот лес, в котором проводят почти все дни года крестьяне, будь то на охоте или за работою на лядине, лес, полный таинственности, производит могучее впечатление на ум олончанина, держит в плену его фантазию. Вот как представляет себе мощного властителя леса пудожанин. Весь лес, говорят пудожане, принадлежит лесному царю, который живет в нем вместе с женой и детьми. Это такая же семья, как и человеческая, и на людей-то они похожи, только «почернее будут». У лесного царя есть верные собачки, сопровождающие его всюду,— маленькие и пестрые, которых, однако, редко можно увидать; есть и верные слуги, подчиненные ему,— то лесовик или леший, ростом с дерево, и другие лесные духи, боровики и моховики, отличающиеся от

лешего только тем, что они меньше его ростом. Злой лесовик — враг крестьянина: он уводит у него скотину в лес, так что иногда и не сыщешь ее; он же сбивает с пути охотника, заводит в лесу ушедшую по грибы да по ягоды девушку. Собственно лесному царю не приписывают злобы, разве только в редких случаях, причем ясно смешение его с лесовиком. В большинстве случаев из рассказов пудожан явствует, что лесной царь «праведный»: даром никого не обидит. Он даже часто возвращает заблудившуюся скотину ее хозяину, хотя для этого и требуется соблюдение известного обряда. Живо переносит нас этот обряд в далекую эпоху язычества, напоминая нам жертвоприношение.

«Пропадет коли скотинка, говорили нам, вот что делают. Пойдут в лес, положат на перекрестке яйцо на левую руку от себя. А на яйцо наговорить должно: «Кто этому месту житель, кто настоятель, кто содержавец, тот возьмите дар, возьмите и домой скотину спустите, нигде не задержите, не за рекама, и не за ручьяма, и не за водама» — отдаст. «А бывают и такие, что знаются с лесовиком, и лесовик отдает им скотинку. Только уж грех-то великий. Тот, значит, и говорить с ним может, и увидать его. Пойдет он на перекресток, засвищет — а он тут и придет. Скажет, можно ли отдать ее. Коли можно — завсегда отдаст».

Отдать скотину является невозможным в том случае, когда она была «завещана», т. е. обещана лесному царю. Дело в том, что люди, знающиеся с лесовиком, при выгоне скота на пастбище, вступают в соглашение с ним. Лесовик обещает охранять скот от волков, медведей и росомах, но за то получает в дар две или три штуки из стада. Такой союз с лесным духом считается величайшим грехом, и слова, посредством которых заключается он, хранятся в глубокой тайне.

Есть и другое, более употребительное, средство обезопасить свой скот. Это произнесение так называемого «отпуска», или особенного заговора, который составлен специально для сбережения стада.

Этот заговор есть не что иное, как молитва, в которой грубо смешиваются христианские идеи с языческими. Он читается при выпуске скота, и читающий его пастух обходит стадо с иконою. При этом берется также воск, делаются из него три шарика, в которые закатывается иногда немного шерсти от каждой скотины. Эти шарики прилепляются к иконе и иногда осенью по окончании пастьбы пускаются на воду. Глубоко чтятся «отпуски» крестьянами. Пастух иногда дорого платит за него сведущим лицам и, получив его, тщательно сберегает.

Интересно, что то же жертвоприношение, которым стараются побудить лесного царя отпустить домой утраченную скотину, употребляется и в том случае, когда кто-либо заболеет в лесу. Меняют только несколько слов при жертвоприношении. «Вы дар возьмите, говорит заболевший, кладя на дорогу яйцо, а меня простите во всех грехах и во всех винах и сделайте здрава и здорова, чтобы никако место не болело, не шумело». Итак, когда дело касается болезни, полученной во владениях лесного царя, не ограничиваются простым заговором, где призывается помощь Христа, Апостолов, Божией Матери и Святых или даже светлых мифических божеств, как, например, утренней зари, против злых духов «от лесовых, от боровых, от моховых и от витреняго, и от уличного, и от водяного, и от баенного и т. д. и от всего нечистого духа и от непадшей силы». Напротив, здесь стараются умилостивить лесного царя жертвою, или «прощанием», т. е. просьбою о прощении. Очевидно, что по верованиям крестьян, по крайней мере в некоторых местностях, они имеют тут дело с высшим существом, которого они однако не признают за «нечистого духа» и за «непадшую силу». Точно так же всякая ворожея, берущая воду в лесу для лечения, должна испросить на это позволение у лесного царя, иногда наряду с царем водяным и с царем земли. «Царь земной и царица земная, говорит обыкновенно берущая воду, и царь водяной, и царь лесной, благословите водушки взять не ради

хитрости, не ради мудрости — для доброго здоровья раба Божья».

Так глубоко чтут владыку леса пудожане. Века прошли, исчезли языческие божества, оставив лишь смутные намеки на свое существование в некоторых преданиях, в заговорах народа,— а культ лесного царя так же крепок, так же жив, как и прежде. Сохранению его, без сомнения, содействовала сама местность, в которой приходится жить пудожанам. Даже не во всех деревнях этого уезда он сохранился одинаково. Близость большого озера, занятия рыболовством тотчас меняют настроение жителей. Реже имея дело с лесом, они хранят культ его уже не так строго и склоняются больше к почитанию водяного царя, со стихией которого им приходится быть в более тесных сношениях. Так, жители берегов большого Водлозера, которые занимаются преимущественно рыболовством*, хранят в большей неприкосновенности культ водяного царя, о котором на небольшом Купецком озере ходит сравнительно мало рассказов.

* * *

«Приходи в гости ко мне — моя изба тут с краю. Спроси Матрену — тебе покажут»,— позвала меня одна баба. Она была среднего роста, молодая и красивая. Глаза большие, голубые, полные какого-то тихого, затаенного выражения; верхняя губа слегка приподнята и часто нервно подергивающаяся; движения медленные, точно утомленные.

«Дай, я провожу тебя,— быстро проговорила на следующий день какая-то старуха, услыхав, что я собираюсь в гости к Матрене,— я ведь у них в пестуньях живу». Эта старуха, которая проводила чуть ли не целый день в избе наших хозяев, действительно, постоянно ходила с каким-то ребенком. Матрена,

* Водлозеры занимались сначала хлебопашеством, но принуждены были обратиться к рыболовству вследствие запрещения, наложенного правительством на подсечное хозяйство.

принужденная уходить на весь день в лес с мужем, наняла себе «пестунью». Обычай нанимать пестунов детям на рабочее время очень распространен здесь. Обыкновенно в няньки нанимаются старухи, мальчики и девочки. Старухе платится 5 р. 50 к. за лето; детям от 2 до 3 р. Наниматели же обязаны обувать и одевать пестунов во все время их пребывания в их доме. Бывают случаи, что по окончании срока найма обувь и одежду отнимают и няньке не в чем идти домой. Дети, отдаваемые под надзор наемных нянек, редко находят хороший уход, особенно если они поручены детям, которые часто покидают их на произвол судьбы, часто неосторожно носят их: порой, не будучи в состоянии удержать такую тяжесть на руках, они перекидывают ребенка через плечо и т. п.

Изба Матрены была маленькая и грязная, хотя также состояла из двух комнат — «горницы» и «фатеры». Но обе они были невелики и плохо убраны. Матрена жила только одна со своим мужем, «маленькой», отделившейся семьей. Работников на семью не было, кроме их самих; не было и благосостояния, которое замечается среди крестьян преимущественно в «больших» семьях. В Пудожском уезде разделы семей стали повторяться все чаще и чаще из года в год, и такой семьи, как у Мошниковых, теперь уже не часто встретишь. При разделе или строят себе особые избы, причем отцовская изба (если раздел происходит между братьями, обыкновенно достается младшему брату, как и в большинстве местностей России), или же (как мы видели на Кенозере) остаются в одной избе, но разделяют ее самую на несколько частей, так что одна комната приходится на долю одной семьи, другая — другой и т. д.; точно так же поступают с хлевом и со двором. Интересно, что с тех пор, как правительство стало противодействовать семейным дележам[29], крестьяне нашли новый способ раздела. Большая семья живет в одной избе, как будто неразделенная, на самом же деле поделено все имущество, и каждая маленькая семейка в этой

большой семье имеет право на свой собственный заработок.

В общем экономическое благосостояние крестьян Пудожского уезда производит благоприятное впечатление. Исключение представляют, конечно, жители многих деревень, особенно Водлозерских; отличаются также бедностью деревни Сарозеро и Коппельозеро (из которых первую называют в насмешку «Москвою», а вторую «Питером»). Но в общем пудожане живут лучше крестьян средних губерний, хотя и трудятся гораздо больше для своего благосостояния, чем они. «Хоть денег нет, а голову кормим»,— говорят пудожане. И, действительно, капиталов у них нет, но нет и той беспощадной бедности, которая кидается в глаза в других местностях России. Ветхую, перекосившуюся избу встретишь относительно редко; лес дает обильный строительный материал пудожанину, и он строит себе жилище просторное и удобное. Обыкновенная изба в Пудожском уезде состоит из сеней, фатеры, горницы, подызбицы, т. е. нижнего этажа, двора — помещения в верхнем этаже для телег и земледельческих орудий — и хлева. У некоторых близ избы есть еще и баня, и амбар для муки и крупы. Пудожанин имеет возможность вести также молочное хозяйство. Число коров в большой семье доходит иногда до 6, 10 и 12, и опытная хозяйка имеет всегда в запасе большое количество творога, сметаны и сушеного, и прессованного сыра, который идет впрок. Держат пудожане и лошадей, овец и кур. Конечно, не все семьи пользуются таким благосостоянием. Раздел, даже по словам самих крестьян, наносит всегда сильный удар богатству семьи. Бывшие еще недавно богатыми семьи теперь совсем обеднели. Это и вполне понятно. При разделе часто приходится на семью по одной корове; пахотной земли нельзя иметь много по недостатку назему[30] и рабочих рук. В голодные годы приходится иногда смешивать хлеб с соломою.

В такую-то бедную семью привела меня бабушка-пестунья.

Хозяев не было дома.

«Грязненько у нас, кому же и мыть? Ведь не то, что у Мошниковых — где у нас рук-то взять?»— объяснила мне бабушка-пестунья, поспешно и неосторожно опуская ребенка в колыбель.

«Эх, руки-то все мои оттянул. Горькая моя жизнь, боженая,— продолжала она,— ведь богато жила я. Мой-то помер; теперь никого у меня на свете не осталось. В пестуньи вот пошла. А легкое ли дело с ихним возиться?»

«Вишь сарафанишко-то какой — многого не дадут. Ох, боженая ты моя голубушка, не легкое-то житье. Скупы они — плохо у них живется, а дела много»,— добавила она шепотом, наклонившись ко мне, и тотчас же быстро отодвинулась, услыхав шорох в сенях.

Вошел муж Матрены, держа в руках плачущую дочку, 4-летнюю хорошенькую Оксютку.

«Живей — здоровей! — проговорил он, бросая шапку на скамью и подавая мне руку.— Оксюта, не плачь — тетя чужая пришла».

Оксюта взглянула на меня своими живыми черными глазенками и затем быстро спрятала свою белокурую головку на груди у отца.

Пришла и Матрена. Она с утомленным видом молча села у дверей, спрятав скрещенные на груди руки под рукавами сарафана.

«Есть хочет Оксюта — нешто не видишь?» — коротко сказал ей муж.

Матрена покорно встала и, взяв у мужа Оксюту, посадила ее на лавку; потом поставила перед нею горшок с сырым тестом. Она сделала это бережно; но не было видно нежности и любви к девочке: она точно не умела обращаться с детьми. Равнодушно скользнул также ее взгляд на младшего ребенка в колыбели.

Было что-то тяжелое в этом хозяйстве.

Разговорились о только что конченной работе.

«Больно мошки кусают — тяжело в лисях,— проговорила Матрена.— Меня вот как искусали».

Она медленно подняла платок, наброшенный на шею — шея, грудь и руки все были покрыты темно-красными пятнами. Только при виде этих страшных кровавого цвета пятен можно понять, как трудно дается хлеб пудожанину.

«Как северик-то дует — легче; а как тепло станет, так мочи нет»,— тихо сказала она, слабо улыбнувшись.

«Известное дело, в лисях мошка, а дома мать спать не дает,— поговорка такая есть — все работать заставляет»,— проговорил муж Матрены.

«Теперь недолго, до Иванова дня всего; а там, говорят, все мошки уйдут к Муромскому монастырю, к Лазарю Святому — все одно как и страннички,— со своей стороны заметила бабушка-пестунья, которая теперь уже сидела у колыбели и усердно раскачивала ее ногой.— Комар, тот больше живет, всю кровь высосет».

«До каких же пор?»

«А у нас вот как говорят: до Ильина дня комара убить — решето прибудет; после Ильина дня комара убить — решето убудет. Тогда ему и конец».

«Мошка хуже,— сказала Матрена,— она все норовит пропихаться, куда бы потеснее; ничем от нее не спасешься».

«Ну, уж и загостилась — хозяйке пора коров доить»,— сказала, входя, Авдотья Феодоровна.

«Успеется»,— промолвила Матрена.

«Мешаешь ты хозяйке — она при тебе не пойдет»,— смеясь, повторила Авдотья Феодоровна.

Едва я успела выйти, как за мною в дверь шмыгнула бабушка.

«Боженая, не будет ли твоей милости — попроси у брателки, на бедность мне»,— быстрым шепотом проговорила она.

Многие приходили из Авдеевской и из окрестных деревень просить у нас милостыню. Но многие приходили издалека с единственною целью — посмотреть на нас.

Раз входит хозяйка в горницу: «Уай! — (это было ее любимое восклицание, распространенное вообще среди женщин),— пришла из Ананьева поглядеть на вас бабушка одна. Уж давно сидит здесь».

«Знаешь, ведь это ворошунья. Скажи ей, она тебе пошепчет»,— предварила меня хозяйка.

Ворожея — женщина лет под 60, юркая, веселая старушка, с немного плутоватой улыбкой на ввалившихся губах, пришла за несколько верст со своей внучкой, бледной и задумчивой девочкой лет 15-ти.

«Пойдем,— торопила бабушку девочка,— дома нас ждут, поглядели и довольно».

«Постой,— отвечала говорливая старушка.— Успеем — вот еще маленько потолкуем».

Ворожея стала приходить ко мне каждый день. Она сообщала мне заговоры, преданья, поверья; раз даже предложила погадать на картах. Авдотья Феодоровна осведомлялась иногда, о чем у нас идут беседы.

«И «слова» (заговоры) она сказывала тебе?» — спросила она меня внезапно.

«Да, и «слова».

«Уай, ты какая! — воскликнула хозяйка, ударив руку об руку и коротко и отрывисто засмеявшись,— ты ведь хлеб у нее отняла!»

«Не знаешь ты,— объяснила она мне,— у нас так бают: коли кто скажет «слова» другому — силу тот теряет. Только когда зубы все выпадут, сказать может. К ней никто и ходить не станет теперь, как ты сказала. Поди, разве не узнают?»

Раз ворожея принесла мне в гостинец «сычни».

«Это ворошунья тебе принесла?» — серьезно спросила меня Авдотья Феодоровна.

«Зачем ты мне не сказала? Коли хотелось тебе, так я бы таких мигом тебе напекла».

«Мне не хотелось вовсе,— сказала я,— а она принесла — нельзя же было не брать их».

«Уж как ты хочешь делай — а я бы не стала есть,— энергично возразила Авдотья Феодоровна.— Мало

ли что бывает: нашепчут они там, что не знаешь, а потом бог знает что сделается».

«Ну, хорошо, я не стану их есть».

Через час Авдотья Феодоровна с торжествующим видом внесла в комнату тарелку, наполненную свежими горячими «сычнями» своего собственного изделья.

* * *

Один из мысов, вдающихся в озеро Купецкое, носит название «Староверческого Носа». Тут было раньше кладбище староверов, когда их жило много в этой местности. Теперь староверов насчитывают с десяток в окрестных селениях — и их обыкновенно чуждаются и не любят православные крестьяне.

Старшина Авдеевской волости вызвался нас проводить на Староверческий Нос, с тем чтобы мы сначала зашли к нему в гости. Он сам был православный, но происходил из староверческой семьи.

«Любит гулять наш старшина, что и говорить»,— рассказывали нам про него.

«И дело прогуляет, коли выйдет случай»,— морщась, как бы неохотно, говорил Феодор Гаврилович, который в качестве умного, дельного хозяина несочувственно относился ко всякому небрежному отношению к делу.

Но, впрочем, серьезного недовольства старшиной нельзя было заметить среди крестьян. Дело в том, что действительно трудно было устоять против обаяния его добродушного лица, всегда довольного всем и преимущественно самим собой. Кроме того, он нимало не кичился своим старшинством, запанибрата был со всеми, «гулять» и веселиться был не прочь никогда, ни с кого строго не взыскивал.

Стоял жаркий день, когда мы двинулись в сопровождении самого старшины Филиппа Назарьевича в деревню Загубье, где находилась его изба. Едва-едва плелся за нами, шлепая надетыми на босую ногу башмаками, приглашенный также Феодор Гаврилович — да и нам казались нескончаемыми две

версты, лежащие между Авдеевской и Загубьем. Не унывал только сам Филипп Назарьевич. Он с трудом сдерживал шаг, соразмеряя его с нашей ленивой походкой. Зато вся его сухая, худощавая фигура перегибалась из стороны в сторону; он то забегал с одной стороны, то с другой; то расстегивал кафтан, на котором болтался его медный значок[31], то сдвигал набок картуз или надвигал его на лоб.

«Ну, вот, слава Богу, вы и в гостях у меня»,— сказал Филипп Назарьевич, вводя нас в горницу, оклеенную новыми голубыми обоями. Окна, дверь и лавки в этой комнате были окрашены в темно-красную краску; стол, как обыкновенно в Пудожском уезде, был также расписан: на красном поле в середине и по углам по розану.

Мы с удовольствием опустились на скамьи. Между тем Филипп Назарьевич хлопотал об угощении: принес баранок, оладий и, наконец, рыбник с лососиной; сам достал тарелки, ножи и вилки. Хозяйки не было видно.

«Ры́бничка покушайте — с лососем; в городе был — купил на базаре — уж очень хорош».

«Ну, как знаете,— проговорил он, услыхав наш отказ.— Просить хорошо, неволить грех»,— и он сам принялся за восхваляемый рыбник.

«Назарыч, иди сюда, неси самовар; мне ведь и не под силу будет»,— раздался из сеней крикливый недовольный женский голос.

Старшина бросил рыбник, остановился на полуслове и бросился на зов. Через секунду он появился, таща огромный самовар. За ним шла его жена, одетая в праздничный кумачный сарафан.

...Озеро было совершенно тихо, когда лодка, в которой мы должны были переехать на Староверческий Нос, отчалила от деревни Загубья.

Тут и там на берегу рыбаки готовили к ловле свои мережи[32] и лодки. Голубая гладь воды с поразительной ясностью отражала деревья, песок и траву на берегу и вдали своей серебристой каймой сливалась с голубой линией горизонта.

Староверческий Нос покрыт лесом. Недвижно стояли зеленые сосны; сквозь их густые ветки прорывались клочки синего неба; между стволами мелькали голубые воды озера.

Тишина царила кругом. Сам Филипп Назарьевич притих.

«Везде тут могилки, везде,— проговорил он.— Глянь-кось, ты сейчас на бугорке стоишь, а все заросло травой да свиникой*. Глянь-кось вот и тут, и тут. Все тут их хоронили: на погост ведь не пускали».

Старшина медленно повел головой и задумчиво оглянул место, где лежало много его родственников.

«Земля эта наша: некуда было класть их — купил эту землю дед — а, может быть, и побольше тому времени будет. Ведь наши-то старой веры были; только как умер отец, я да братья перешли».

Из рассказов старшины мы узнали, что могилы на Староверческом Носу были снабжены сначала крестами и кивотками**, но во время общего гонения на раскольников при императоре Николае они были снесены по приказанию исправника[33] Рожнова.

«Лютой был; как пришел он сюда, на самое это место,— говорил Филипп Назарьевич,— начал он кресты наши (осьмиконечные) сшибать, кивотки наши ногами переворачивать — ничего на месте и не оставил».

И действительно, теперь трудно отличить могилы в этих частью обвалившихся, частью осевших буграх, покрытых густой травой и кустами голубицы и вороники.

«Ну, Бог тебе на прощаньице,— наконец проговорил Филипп Назарьевич,— теперь и без меня вернетесь, а завтра даст Бог свидимся»,— пожал нам руку и побрел через лес.

---

* Свиника, или вороника — Empetrum nigrum.

** На некоторых могилах в Олонецкой губернии ставят деревянные, низенькие памятники в виде избушек, которые называются «кивотками».

* * *

В Буракове жил певец былин, Никифор Прохоров, по прозванию Утка.

«Пора́то (очень) хорошо поет старинку,— говорили нам про него,— а если рюмочки две для голоса выпьет — совсем хорошо будет петь».

«Вот едет Утка, едет!» — радостно кричали нам, указывая на лодку, везущую певца, которая быстро ныряла по серым волнам озера. Наши хозяева не менее нас ожидали удовольствия послушать пения былин.

«Просят, нельзя ли прийти послушать в горницу к тебе»,— спросил брата большак от имени других мужиков, собравшихся при вести о прибытии певца. День был воскресный и народу в деревне много. Горница быстро наполнилась народом. Впрочем, пришли больше пожилые мужики; молодых парней было мало. Сели на лавках, на кровати, жались в дверях.

Взошел Утка, невысокого роста старик, коренастый и плечистый. Седые волосы, короткие и курчавые, обрамляли высокий красивый лоб; редкая бородка клинушком заканчивала морщинистое лицо, с добродушными, немного лукавыми губами и большими голубыми глазами. Во всем лице было что-то простодушное, детски-беспомощное.

Почванившись немного, Утка, ободряемый присутствующими, решился выпить рюмочку «для голоса».

«Про кого же петь старинку тебе?» — спросил он, сбрасывая с себя толстый, теплый армяк и откидывая немного назад свою голову.— «Записывать станешь?» Старик уже пел былины Гильфердингу*.

Утка откашлянулся — все тотчас замолкли. Утка далеко откинул назад свою голову, потом с улыбкой обвел взглядом присутствующих и, заметив в них нетерпеливое ожидание, еще раз быстро откашлянулся и начал петь. Лицо старика-певца мало-помалу из-

* В Собр. Гильфердинга есть его краткая биография (Собр. Гильфердинга А. Ф. СПб., 1874. С. 226).

менялось; исчезло все лукавое, детское и наивное. Что-то вдохновенное выступило на нем: голубые глаза расширились и разгорелись; ярко блестели в них две мелкие слезинки; румянец пробился сквозь смуглость щек; изредка нервно подергивалась шея.

Он жил со своими любимцами-богатырями; жалел до слез немощного Илью Муромца, когда он сидел сиднем 30 лет, торжествовал с ним победу его над Соловьем-разбойником. Иногда он прерывал самого себя, вставляя от себя замечания.

Жили с героем былины и все присутствующие. По временам возглас удивления невольно вырывался у кого-нибудь из них; по временам дружный смех гремел в комнате. Иного прошибала слеза, которую он тихонько смахивал с ресниц. Все сидели, не сводя глаз с певца; каждый звук этого монотонного, но чудного, спокойного мотива ловили они.

Утка кончил и торжествующим взглядом окинул все собрание. С секунду длилось молчание; потом со всех сторон поднялся говор.

«Ай да старик... как поет... ну уж потешил... недаром для голоса выпил...»

Утка улыбался; лицо его приняло опять обычное выражение.

«Пожалуй, и сказка все это»,— нерешительно проговорил один мужик.

На него набросились все.

«Как сказка? Ты слышишь, старина это. При ласковом князе при Владимире было».

«Мне вот что думается: кому же это под силу — вишь ведь как он его».

«На то и богатырь — ты что думаешь?.. Не то, что мы с тобой — богатырь!.. Ему что? Нам невозможно, а ему легко»,— разъясняли со всех сторон.

«Ну, да что толковать тут. Старик, спой-ка лучше еще старинку какую-нибудь».

Вмиг воцарилось молчание; через минуту снова раздалась своеобразная мелодия...

«Сказитель пришел из Мелентьева — послушать его не изволишь?» — доложили брату.

Сказитель был старик высокий и худой, с длинными совершенно белыми волосами, с приветливым и умным лицом. Держался он спокойно и чинно. Он был старовер и поэтому сдержанно и с достоинством отказался от водки.

Утка немного напряженно поздоровался с ним; он знал, что дело идет теперь о том, кто из них удостоится большего одобрения слушателей. Старик из Мелентьева пожал его руку, сел на скамью и, прислонившись к стене, начал рассказывать.

Сказитель знает те же былины, как и певец «старины»; но у него нет голоса, нет умения петь их — и он их рассказывает. Мерно и плавно, былинным слогом, лилось повествование о Добрыне и о жене его Настасье Микулишне из уст мелентьевского сказителя. Он ни разу не остановился; ни разу не пришлось ему подыскивать ускользнувшее из памяти слово. Спокойно глядел он на окружающих ясным старческим взглядом. Утка волновался, хотя и старался скрыть свое волнение. Он сложил руки на коленях и притворно спокойно оглядывал комнату.

Торжествовать пришлось Утке.

«Хорошо говорит сказитель, нечего сказать,— хвалили мужики.— А все ж лучше старинку петь».

И Утке пришлось петь снова. Впрочем, и сказитель удостоился одобрения. Его просили также рассказывать и очень хохотали над известной сказкой «Как мужик гусей делил».

«Бесёда собралась — пойдем поглядеть»,— шепнула мне Авдотья Феодоровна.

Наработавшись целую неделю в лесу, молодежь ждет не дождется воскресенья, чтоб отдохнуть, позабавиться вдосталь. Зимою — другое дело: девушки почти каждый день собираются на так называемые «вечерки». Летом же собираться можно только по воскресеньям да по праздникам. В большие праздники (церковенные и часовенные) в деревнях устраивают «гулянку» — обыкновенно близ часовни*.

* Так, в Авдеевской «гулянка» бывает в роще и на кряже близ часовни; на Кенозере, в дер. Вершинине, в поле, около часовни

В воскресенье же на бесёду (а зимой на вечерку) собираются в избу, которую нанимают на целый год у какой-нибудь бедной семьи (богатые не отдают своего дома из боязни беспокойства). С каждой девушки берется по 10 фун. муки; каждый парень всякий раз за право присутствия на бесёде платит по 5 коп. Девушки, кроме того, приносят с собой и муки, яиц, толокна, пирогов и т. п. На угощение парни приносят сласти. В Новый год девушки вечером варят кашу, которая называется «васильевщиной»[34]; в день св. Варвары[35] собираются также и варят тоже кашу «варварщину». Есть также обычай, чтобы в последний день Масленицы парни дарили любимой девушке («игрице») пряники. За это девушка должна отдарить своего «играка» в первый день Пасхи яйцами. Весь Великий пост девушки поэтому копят яйца, чтобы подарок вышел заметнее. В первый день Пасхи девушки идут на бесёду, заготовив каждому парню по яйцу.

«А играковы-то яйцы спрячет, в карман, что ли, за пазуху, чтобы не приметно сразу-то было! А «холостые» знай пристают: «Яйца, яйца»,— кричат. Гоморра-соморра у них подымется. Так иная с полсотни своему играку-то принесет».

Вообще старшие относятся к бесёдам по большей части доброжелательно, хотя иногда и ворчат на молодых. Дело в том, что вечёрни иногда длятся слишком долго.

«До петухов, случается, песни поют, играют. Придут — а дома-то печку уже топят; пора и в поле».

Бесёды посещаются между прочим и замужними, а иногда даже и стариками.

В небольшой избе сидела масса девушек, наряженых по-праздничному. Яркие сарафаны, яркие ленты в головах придавали оригинальную красоту их пестрой толпе. Девушки все были заняты какой-нибудь работой, по большей части вышиваньем в пяль-

Св. Николая Чудотворца, в дер. Алексиевке на Купецком оз. близ сосны, которая, по преданию, выросла из косы Пановой сестры, похороненной тут, и т. д.

цах. В одном углу толпились парни вокруг одного своего товарища, играющего на гармонии. А дальше от переднего угла, оттесненная к самой печке, стояла толпа подростков-девочек. На них никто не обращает внимания, никто не танцует с ними — разве молодой парень из небывалых пригласит которую-нибудь из них — но девочки страшно любят бесёды и не пропустят ни одной. Выпросятся у матерей, разрядятся и бегут на собрание девушек.

При нашем входе общий говор затих; некоторые из девушек уткнулись в работу; другие внимательно оглядывали меня; изредка слышался шепот соседки с соседкой.

«Чтой-то вы, девушки, сидите так, песню бы какую спели»,— проговорила Авдотья Феодоровна.

Но петь долго не решались, пока, наконец, самая смелая девушка не затянула песню. Ее подхватили все, и, переливаясь, то повышаясь, то понижаясь, полилась грустная, за душу хватающая русская песня.

Бесёда оживилась. Парни предложили «сыграть кандрель или ланцьет». Занесенные из Петрозаводска под именем игр, кадриль и лансье быстро привились в деревне и вытеснили старинные «игры».

Стали танцевать кадриль в 4 пары. Танцевали без ошибок. Девушки неуклюже и неграциозно двигались взад и вперед; зато отличались парни. Они выкидывали всевозможные па, приседали, подскакивали, кубарем вертелись вокруг своих неповоротливых дам.

«Смотри на Ригина нашего — пляшет как»,— Авдотья Феодоровна указала мне на одного парня.

Ригин, недавно вернувшийся с Петрозаводского завода, вполне прививший к себе городскую мещанскую культуру, в глазах своих односельчан был украшением бесёды. Щегольски одетый, с остриженными по-городски волосами, с самодовольным видом человека, сознающего свое превосходство, Ригин рисовался пред всем собранием. Он ухитрялся играть на гармонии и танцевать в одно и то же время. И, действительно, он играл и плясал мастерски. Он не

приседал, лихо не выкидывал па, как остальные, но мелкими частыми шагами сопровождал мелкие частые переборы плясового мотива. Вокруг него все вертелись, кружились, девушки быстро проходили мимо, а он ни на кого не обращал внимания, гордо и спокойно выделывал красивые, грациозные па. Не одно сердце в своей деревне погубил Ригин и пляской, и игрой.

В избе становилось душно, да и тесно было танцевать. Веселой, шумной гурьбой выбежали девушки на улицу. Под серым хмурым небом быстро составилось лансье в 8 пар. Снова раздалась гармония Ригина; снова замелькали быстро двигающиеся фигуры. Но вот сквозь тучи упал сначала бледный луч солнца; тучи расползались, и постепенно все ярче и ярче становилось освещение. Красиво замелькали ставшие более яркими пестрые наряды.

А неподалеку на лужайке собрались подростки и дети. Происходила оживленная игра в мяч. Берестяные мячи высоко взлетали в воздух; сверкали на солнце загорелые ручонки и босые ноги. Смех, крик и визг неслись оттуда под аккомпанемент ригинской гармонии.

III

ВОДЛОЗЕРО

«Водлозеро — загнано место»,— говорили нам еще в Пудоже. «Дома плохенькие, живут бедно — да что и говорить».

И нам пришлось убедиться в справедливости этих слов. Деревня Большой Кул-Наволок на Водлозере, куда лежал наш путь, оказалась поистине «загнаным местом». Брошенная на самый конец узкого и длинного, с версту, наволока, или мыса, со своими бедными одноэтажными, покосившимися избами, она казалась какой-то бесприютной, печальной и дикой. Рыболовные снасти, лодки, весла, шесты для просушки сетей наполняли собой весь берег. И общим суровым фоном этой печальной картины служило хмурое, седое озеро.

Неприютное, холодное, широко разлилось Водлозеро*) в низменных берегах, густо поросших лесом. Страшна его необозримая гладь в тихую погоду; еще страшнее, когда грозный северик поднимает на нем высокие, бурные волны. Крепки водлозерские лодки, но и им страшно пускаться в холодные воды озера при таком волнении. И холодно, и неприютно живется водлозерам. Это огромное озеро точно тяготеет над ними. Подует северный ветер — и скудное дневное пропитание, заключающееся преимущественно в улове рыбы, почти совсем отнято у Водлозера. Разве только где-нибудь в небольшой лахте,

* Площадь озера занимает 411 кв. верст.

или заливе, можно половить рыбу. Кроме того, то же озеро не позволяет ему часто сообщаться со своими соседями. Между деревнями, разбросанными по берегам и на островах его, часто на целые месяцы прекращается сообщение. По месяцам им не удается иногда съездить в погост или волостное правление. Вот чем объясняется, что водлозеры так редко обращаются за решением споров к волостному суду[36], что они реже, чем в какой-нибудь другой местности уезда, зовут к себе фельдшера, что часто по два, по три месяца новорожденный ребенок остается у них без крещения.

Да, тяжела жизнь водлозеров. Ранней весной идут они массами в южную часть губернии на водные системы или на север для рубки и гонки леса. И тут и там ужасные условия жизни: часто непосильная работа, сырость, холод, плохое питание развивают заразные болезни — и гибнут водлозеры вдали от родных деревень. Понятно, цена за их работу весьма малая; да и то получают они ее не из прямых рук, а от своего же брата богатея-крестьянина, который наряжает их еще осенью. У богача-крестьянина бедняк зачастую бывает в долгах — вот почему при расчете он получает весьма малую сумму за целое лето усиленной работы.

В деревне Большой Кул-Наволок всего один большой двухэтажный дом. Он принадлежит местному богачу-крестьянину Кузнецову. Кузнецов держит при своем доме лавку — сильное орудие, чтобы захватить в свои руки бедных крестьян. Жалуются на него односельчане и не любят его — а все же приходится ходить к нему то за тем, то за другим. Кузнецов берет страшные цены — так, например, за фунт соли — 3 к., за крендель (баранки) — 1 к., за и ф. кофе — 80 к. и т. д.

В деревнях, оставляемых весной водлозерами, остаются бабы с кучею ребятишек. На ответственности баб лежит прокормление семьи, обработка поля. Не покладая рук, работает водлозерка: она и на пашню поспеет, и рыбу выедет ловить с нево-

дом. Вечером на большой дороге*, ведущей в деревню, постоянно видишь группы баб и детей, возвращающихся с одного из заливов озера с огромными корзинами из сосновых дранок за плечами; это они несут дневной улов.

Смела водлозерская женщина: в гребле она не уступит мужчине. Впрочем, бабе ставится даже в укор сидеть за рулем, когда мужик сидит в веслах; она непременно должна перемениться с ним местом. Неудивительно, что при такой суровой жизни водлозерка пьет водку в очень большом количестве, тогда как на озере Купецком, например, бабы позволяют себе угощаться только наливками, по большей части купленными в городе. Так живут водлозеры дико и неприветливо, смотрят на первый взгляд както сурово и невесело — разве потом при беседе прояснятся их хмурые лица. Занимаются они преимущественно рыболовством, особенно после того, как стали преследовать подсечное хозяйство; но есть у них и пашни — и по целым дням их не видать дома. Даже и в воскресенье уходят на работу; да и чем отличается у них воскресенье от прочих дней?..

Поистине загнано место это, Водлозеро...

* * *

Много было работы у наших водлозерских хозяев.

«И рады бы были посидеть с вами,— часто извинялись они,— да работушки больно много».

Семья была многочисленная и состояла больше из малолетних. Да и старшие казались какими-то Богом обиженными людьми. Большак, Михаил Федотович, очень добрый, но глуповатый мужик; его брат-заика; большуха, Акулина Савельевна, добродушная, преданная мужу и детям, но сильно дурковатая, как-то пассивно относящаяся ко всему. От сно-

* Проезжая дорога на Водлозеро проведена очень недавно; до этого времени Водлозеро принадлежало к таким глухим углам Пудожского уезда, куда можно было проникнуть только верхом или пешком.

хи, почти занятой исключительно своими детьми, нечего было ждать большой помощи; да она сама, выданная за заику, угнетенная заботами о больных детях, сделалась злой и сварливой и срывала свою злобу на Акулине Савельевне. А старший сын Михаила Федотовича, Яков, парень здоровый и сильный, казалось, больше думал о песнях, играх, бесёдах — да о своей собственной красоте, чем о работе, и всеми силами отлынивал от нее.

Вот какова была семья наших водлозерских хозяев. В небольшой, всегда почти наполненной дымом, «фатере» редко можно было встретить взрослых; зато целый день там толкалась куча детей. Тут были и свои, и соседские: кроткий с конфузливой улыбкой на губах, 10-летний Алеша; Иля, 6-летний мальчик, всегда молчаливый, всегда задумчивый, до страсти любящий цветы, с замечательно ясным и чистым взглядом голубовато-серых глаз; и безответная, робкая Хоня, которая вечно таскала с собой полугодовую сестренку, с трудом, вся перегнувшись назад, удерживая ее на слабых худеньких ручонках; и косматый, рыжий Пронька с недобрым блеском в темно-карих глазах. У этого Проньки была злая мачеха — вот почему, может быть, этот 10-летний мальчик казался таким озлобленным. Двухгодовой братишка, которого ему поручено было пестовать, то и дело лез к нему, а он его грубо отталкивал и с резким и злым смехом рвал на нем и без того худую рубашку.

«Пусть себе ходит так»,— торжествующим тоном говорил он на укоризненные замечания доброй Акулины Савельевны.

Но из всех детей выдавались 11-летняя дочь большака Марьюшка и ее однолетка подруга Дарко. В Пудожском уезде нам приходилось часто видеть замечательных по красоте детей. И куда деваются потом эти тонкие, правильные черты лица, чудные глаза, цвет волос? По крайней мере у взрослых нам редко случалось видеть красивое лицо. Марьюшка и Дарко были не только красивы, но замечательно изящны

и грациозны. Обе были черноволосые, черноглазые; только Марьюшка была живее и веселее, а у Дарки в прекрасных, опушенных длинными ресницами глазах сквозило больше мечтательности и томности. У Марьюшки движения были ловкие и смелые, и когда она делала что-нибудь, всегда казалось, что сама она любуется ими. Дарко же, казалось, всегда ластилась к чему-то. Обе знали о своей красоте; может быть, им наговорили о ней проезжие чиновники, останавливающиеся у Михаила Федотовича, потому что вряд ли этого рода красота была по вкусу деревенским. Сама Акулина Савельевна сказала раз про обеих девочек: «Их все господа любят и балуют». Как бы то ни было, они обе сознавали свою красоту и любили щеголять ею. Брат захотел снять с них фотографию. Марьюшка отказалась: «Теперь не хочу; в воскресенье вот — наряжусь тогда». У Дарки не было во что нарядиться: она всегда, и по будням, и по праздникам, ходила в одном и том же полинялом заплатанном сарафане. «Меня сейчас, только вон здесь»,— быстро проговорила она почти умоляющим голосом. «Здесь можно?» Она не захотела стать около стены, где снимались другие, но побежала к выдвинутой на берег лодке, вскочила в нее и встала в позу, опершись рукой на высокий нос лодки.

И во всем, что бы они ни делали, и Марьюшка и Дарко старались выказать как можно больше ловкости и грации. Бывало, видишь, Дарко возвращается со своими семейными с рыбной ловли. Большая, наполненная рыбами корзина у нее за плечами; утомленная непосильной работой, сгибается она под тяжелой ношей — и все-таки как легка и миловидна вся ее тоненькая стройная фигура. Марьюшка не отступает от подруги. Всегда веселая, всегда одинаково грациозная, убирает ли она, тихо напевая песню, домашнюю посуду, причесывает ли младших сестер, защищает ли их от нападения старшего братана Феди.

Это был поистине ужасный мальчуган, которого никто не мог засадить за какую-нибудь работу, ко-

торый смеялся над приказаниями старших, жил как ему хотелось, бил и дразнил окружавших его девочек. Всегда оборванный и грязный, со спутанными волосами, из-под которых выглядывали дерзко и нахально серые глаза, с всегда приподнятой вверх головой, с отчаянным видом, он, казалось, только и искал случая и возможности сделать какую-нибудь шалость. Несмотря, однако, на все его проделки, девочки любили бесшабашного, ленивого, неуслужливого Федю, от которого им порой даже сильно доставалось.

Раз вечером вхожу в «фатеру». Собралась масса детей. В середине, на лавке, сидит Федя, болтая ногами, и безумно хохочет; смеется и вся компания; только двухлетняя Олена, не обращая ни на кого внимания, высунув язык, бегает вдоль скамьи, придерживаясь за нее руками.

«Посмотри, тетенька, какой дурак,— указала мне на Федю Дарко.— Смеется, сам не знает чему»,— и Дарко тотчас же сама рассмеялась.

«Бессовестный, ему говорят: кто будет зыбку качать? А он и не думает»,— произнесла Марьюшка, метнув грозный взгляд по направлению Феди, и все-таки улыбнулась. «Ну, уж погоди: придет ужо дяинька...»

«А что?» — проговорил Федя и тотчас же не преминул толкнуть ногой пробегавшую мимо Олену.

«Вот ты какой, вот ты какой»,— накинулась на него Марьюшка и побежала успокаивать раскричавшуюся девочку.

«Ну, не дурак ли ты?» — презрительно пожала плечами Дарко, обращаясь к Феде.— Мы, тетенька, говорим ему: ходит он учиться, два года уж ходит, а все равно ничего не знает».

«А ты-то умеешь?» — внезапно обернулся к ней Федя.

«Да я и не учусь. Меня бы учили — не так бы я умела»,— и Дарко вздохнула и скромно опустила глаза.

«А ну-ка прочти — вот книга — покажи тетеньке, как ты читаешь»,— начала она тотчас поддразнивать мальчика.

Но Федя, наверно, сознавая свое бессилие, упорно отказался читать. Девочки торжествовали и начали осыпать его насмешками.

Разговор между тем перешел на другую тему.

«Скучно у нас теперь, тетенька,— проговорила Дарко.— Бесёды нет. Нам и некуда ходить».

«Прежде,— пояснила Марьюшка,— девушек у нас было много. Соберут бесёду — и мы идем. А теперь как-то все заодно замуж пошли — не для кого и бесёду делать; одна девушка всего и осталась в деревне».

«Она нас учит, как играть. Мы ведь играть умеем: и кандрель, и ланциет,— с гордостью заявила Дарко.— Тут вот к мостику, что на дороге, пойдем с нею, она и учит нас».

Только после долгих упрашиваний девочки согласились спеть. Дарко затянула унылый мотив; подхватила его и Марьюшка. У Дарки голос был сильный и глубокий; у Марьюшки тоненький и звонкий. Марьюшка пела рассеянно, поминутно поправляя то складку сарафана, то ленту на голове. По увлажненным глазам Дарки, блестевшим из полуопущенных ресниц, видно было, что она предавалась вся грустному настроению, навеваемому на нее унылым мотивом.

* * *

Уже несколько дней Водлозеро преграждало нам дальнейший путь. Северик с самого приезда нашего в Большой Кул-Наволок никак не хотел успокоиться, и Водлозеро волновалось и сердилось так, что никто не решался свезти нас на противоположный берег его, в деревню Конза-Наволок, где находилось волостное правление.

«Вставайте скорее,— разбудили нас внезапно одним пасмурным, холодным утром,— можно доехать, если поспешить».

«Северик стих?» — был наш первый вопрос.

«На подсиверный запад свернул. Доехать можно, хоть и против ветру будет».

Большая крепкая лодка ожидала нас у берега. На дне ее заботливо была наложена груда соломы для нас. У руля поместился староста какой-то дальней деревни, которому было по дороге ехать с нами; в веслах сели: наш хозяин, Михаил Федотыч, сын его Яков и солдатка Матрена, женщина лет 36-ти, известная своею ловкостью и силою в гребле.

«Не потрепало бы вас на озере»,— озабоченно качая головой, произнесла нам на прощанье Акулина Савельевна.

Лодка быстро ныряла по свинцовым волнам; они не были особенно велики, пока мы ехали заливом. Но вот остался в стороне берег — все дальше и дальше отступал он — и грознее стали увенчанные белою пеною волны. Крепко налегали на весла гребцы. Разговору было мало: все их внимание было обращено на весла. Только от времени до времени слышалось предупреждение рулевого: «Волна!» Нам было видно ее: высокая, грозная — она стеной поднималась над лодкой. Гребцы делали особенное усилие — нос лодки высоко взлетал, и мигом затем опускались мы опять в серую бездну, чтобы сейчас же опять взлететь наверх.

«Ни разу еще не залило»,— с гордостью говорил иногда Михаил Федотыч.

Водлозеро испещрено островами. По словам местных жителей, их здесь столько, сколько дней в году. Тут и большие, и маленькие — но все они поросли зеленью или лесом, все окружены будто твердыней серыми валунами, о которые белыми брызгами и пеной разбиваются волны. Мы лавируем между островами: староста, хорошо знакомый с озером, ищет, как он выражается,— «ти́шинки» — т. е. мест, защищенных от ветра самым расположением островов. В «тишинке» отдыхают гребцы — нет лишней траты сил на борьбу с волнами; тут совсем тихо — не слышишь грозного бушевания ветра. Иногда в этих тихих плесах встречаешь двух или трех лебедей. Гордо

изогнув свои прекрасные белые шеи, они медленно и величаво плавают вдоль островов. Они не боятся приближающихся людей: ни один олончанин никогда не стрелял в лебедя, потому что трогать его считается грехом, который непременно будет наказан или смертью, или семейным несчастьем стрелявшего.

Но вот кончается «ти́шинка». Снова выезжаешь в бушующее озеро; снова раздается монотонное: «Волна!» Умолкают разговорившиеся было гребцы.

Яков начинает уже утомляться; вяло зацепляет его весло за воду и сбивает с такту сидящую рядом с ним Матрену.

Сердито взглядывает на него Матрена и тотчас отвертывается опять к своему веслу. Хмуро глядит она на озеро, внимательно следит за волнами.

Тяжелая жизнь на берегу этого озера, вечная зависимость от него и борьба с суровой природой наложили свой отпечаток на нее. Окрепли ее мускулистые руки от постоянной усиленной гребли; окреп весь ее организм, противостоящий с легкостью переменам погоды. Окрепли также ее внутренние силы. Бодро переносит она трудную жизнь солдатки, не имеющей работника в семье, долженствующей кормить себя и несколько человек детей. И теперь в ее взгляде, полном тупого безысходного горя и тоски, которые придают только бедность и нужда, нет ни малейшего страха. Не впервые ей бороться с расходившимися волнами. Но нет и самохвальства — она сознает опасность, сознает всю силу бушующей стихии, но соразмеряет с ней и собственные силы. И твердо лежат ее руки на рукоятке весла, и сильным взмахом ровно взлетает оно из воды и снова опускается в нее.

Мы проезжаем мимо заселенных островов. Несколько изб ютятся на этих небольших клочках земли среди редко спокойного озера. Нам показывают другие острова, на которых расположены пашни этих деревень; еще другие, где находятся их паст-

бища. На все лето отвозят сюда скот и каждый день приезжают в лодках бабы доить своих коров.

Мало-помалу разговорились. Староста с любопытством спросил, куда мы поедем из Пудожа.

«В Соловки»,— отвечали мы.

«Будто плохо»,— одобрительно проговорил староста.

«Хорошее это дело, к святым угодникам съездить. Вот и от нас сколько народу ездит. Всякий хоть раз побывал».

«Ездим вот как,— начал рассказывать староста,— соберется народ, сложится — ка́рбас (лодку), значит, заведем себе, а то иной побогаче и так даром ка́рбас даст. Припасов себе возьмем тоже. А потом и едем; гребем по очереди, а как волок — тащим ка́рбас на себе. Так-то рекама да озерама до Онеги доедем. А там монашки до угодников довезут. А приедем оттуда — наш ка́рбас опять ждет нас, тем путем и обратно доедем».

Увлекшийся разговором староста перестал обращать внимание на руль.

«Староста, на луду* правишь»,— бесстрастно заметил ему Михаил Федотыч.

Луда, действительно виднелась вблизи; волны сильно разбивались о песчаную мель, бурлили белой пеной вокруг незаметных под водой камней.

«Ладно, ладно»,— успокаивал староста и внезапно, неожиданно для себя, ощупал рулем камень.

«Сохрани, Господи»,— воскликнул он испуганно.

«А и впрямь на луду правлю, да и не заприметил,— продолжал он, уже улыбаясь, когда два-три сильных взмаха весел отнесли нас далеко от опасного места.— Вот оно и корщик[37] какой я».

Нанесенная на луду лодка может сразу разбиться. Бывали случаи, когда люди, выкинутые на луду, долго боролись с волнами, но их или разбивало постоянно набегавшими волнами, или уносило далеко в открытую воду.

* Луда — подводный камень.

Гребцы причаливают к одному маленькому безлюдному островку. До Конза-Наволока остается 5 верст по совершенно почти гладкому месту. Надо дать отдохнуть рукам. Мы выходим все на островок. Буря гудит кругом, наклоняя ветви елки, одиноко растущей на нем. Вокруг теснятся, спешат куда-то седые, бурные волны. Минут через 10 гребцы с новой силой опять берутся за весла.

На пути мы встречаем рыболовов; одни только что выезжают на промысел; другие осматривают уже брошенные невода. Как-то отрадно встретить на этом просторе других людей и страшно в одно и то же время смотреть на их то высоко взлетающие, то исчезающие в седой бездне лодки.

Налево в стороне остается длинный, узкий Кинг-остров. На нем, говорит предание, была битва с чудью, и тут легла она вся. Лес на этом острове издавна почитается водлозерами священным, хотя на нем и нет никакой часовни; но рубить его считается грехом, запрещенным Богом.

«Знаешь Кузнецова у нас в Кул-Наволоке — дом у него большой такой,— произносит своим медленным и нерешительным голосом Михаил Федотыч,— так-то отец его, Василий Кузнецов, рубить захотел. Долго ни за какие деньги не мог подрядить, кто бы ему срубил. А потом рука у него и отсохни».

В лодке наступило молчание. Ревет ветер, низко наклоняя деревья на молчаливом, таинственном Кинг-острове. Лодка быстро проносится мимо.

Не только на Кинг-острове лес считается священным и не с ним одним связано предание. Близ деревни Б. Кул-Наволок лежит так называемый Петуний остров; мелкий кустарник на нем также запрещено рубить. Другой, Воскресенский, остров почитается священным за то, что на нем находится древняя часовня и около нее могила, приписываемая какому-то пустыннику. Здесь служат молебен в Фомино воскресенье, и многие приезжают сюда. Предание говорит, что на этом острове спасались два пустынника, из которых один, впрочем, ушел от своего товарища.

Имен их не знает никто; но народ убежден, что они святые. — Много преданий вообще сохранилось на Водлозере относительно разных островов и урочищ, и крепко держится их народ.

Небо мало-помалу начинает проясняться. Ветер с силою гонит тучи; вот заблестело солнце. Одна половина озера еще отражает серое, покрытое тучами небо; другая блестит яркой синевой. На возвышенном берегу, облитые лучами солнца, теснятся вокруг деревянной часовни избы Конза-Наволока.

...Возвратный путь мы совершили под парусом. Ветер еще не стихал, но небо было совершенно ясно. Синие волны озера подкатывались под борт нашей лодки, приподнимали ее на свой высокий гребень и снова сдавали ее катящейся рядом волне. Кружилась приятно голова от этого постоянного колыхания, от блеска и движения ярко-синих волн.

Гребцы отдыхали: Матрена, сложив на груди руки, глядела куда-то вдаль. Яков улегся на лавке. Только Михаил Федотыч, крепко замотав брас[38] вокруг ноги, управлял им парусом. Молчали все; тихо посвистывал Михаил Федотыч, призывая свистом ветер*.

«Эх, мало подсобляют»,— проговорил, наконец, Яков.

Он приподнялся с лавки, снял шапку и поклонился:

«Сивушки-бурушки
Вещие вороняюшки,
Пособите, дружки, помогите.
Как моего дедушку слухали,
Как моего батюшку слухали,
Послужите и мне
Верой-правдою,
Силою крепкой»,—

быстро проговорил он и снова лег на лавку.

«Ишь, услыхал; вот так славно; ну, еще, еще — вот так!» — с удовольствием возглашал Яков. Действительно ветер, точно послушавшись заклинания, начал крепчать.

* Поверье, распространенное по всему Северу.

Яков затянул песню.

Какое-то особенное впечатление оставляло это пение среди всеобщей тишины, прерываемой только резкими порывами ветра да журчанием воды, прорезываемой лодкой.

Голос у Якова был сильный, мягкий и гибкий. Его с удовольствием можно было слушать.

«Спой еще песню, Яков»,— попросили мы.

Яков посвистел немного, чтобы еще вызвать ветер, и начал снова. На этот раз он хотел удивить нас своим знанием городских песен.

Вот что он пел:

Скрылось солнце за морями,
Водворилась тишина,
И с Петровской долины
Волны плещут берега (sic).
Бедный рыцарь там стремился
К Марфее молодой.
Там Марфею снаряжали
Жить победную к венцу.
Марфея бедна плачет,
И несчастна слезы льет:
«Уж вы, девушки, скажите,
Как забыть бы рыцаря».
Бедный рыцарь наезжает;
Рыцарь саблю облагал.
Сабля вострая свилася —
И покатилась голова.
Померла наша Марфея,
Руки к сердцу приложила,
Богу душу отдала.
Гробны доски сколотили
И в Божью церковь понесли,
Все там певчие пропели,
Потряслася мать-земля,
И вся вселенная сказала,
Что есть погибшая душа.
Тело в гробе говорило:
«Подойди, милой, сюда».
Священники сказали:
«Воротить души нельзя».

С трудом узнали мы в этих словах известную балладу «Мальвина». Несколько раз приходилось нам слышать в средних губерниях переделку этой баллады, но никогда в таком исковерканном виде. Не менее удивил нас Яков, когда после этой песни он с гордостью затянул «Коз-Булат удалой» и наконец «По синим волнам океана».

Жадная до новых песен деревенская молодежь с увлечением учит все песни, приносимые петрозаводскими мастеровыми и отслужившими солдатами, и, наконец, переводит на песенный склад выучиваемые в школе стихотворения.

Ветер все еще недостаточно подсоблял, по понятию Якова. Он опять начал свистеть.

«Довольно, Яша»,— заметил Михаил Федотыч.

«Не видишь, что ли, как везет? Мало тебе?» — сердито обернулась в его сторону Матрена.

Но Яков не унимался.

«Эй, вы, живей,— кричал он.— Ну, тройкой подсобите!» Налетевший порыв ветра заставил карбас сильно накрениться. Огромная синяя волна заглянула к нам в лодку. Яков мигом вскочил.

«Довольно, довольно!» — закричал он и показал кулак волнам.

«Ну вас! Ишь расходились!»

«Говорили тебе»,— произнес Михаил Федотыч.

Яков опять лег и вполголоса затянул песню.

Вдали показался Кул-Наволок.

«Ну, громче теперь — пусть все слышат, что мы едем. Подтягивай, Матрена!» — воскликнул Яков.

Матрена улыбнулась и присоединила свой голос. То был голос резкий, немного надтреснутый. Испортился ли он под влиянием тяжелой жизни, неблагоприятных климатических условий?

Громко на весь залив звучала песня. Под ее звуки лодка быстро пробежала лахту и мягко врезалась носом в песчаный берег.

* * *

На этот раз озеро совершенно тихо. Может быть, и обещают дождь густые белые облачка, поднимающиеся на горизонте; но все небо безоблачно, и солнце обдает нас сверху целым потоком горячих лучей. Точно по голубому зеркалу скользит лодка. Наш путь лежит в оба водлозерские погосты: Пречистенский и Ильинский.

Опять острова перерезывают нам прямой путь. Снова мы огибаем их скалистые берега — то въезжаем в тень, бросаемую на воду деревьями, растущими на них, то выезжаем снова на освещенную солнцем ярко-голубую поверхность озера. Но вот лодка въезжает в узкий пролив между двумя островами — так называемый «Железные ворота» — и заблестела перед нами, ослепляя глаза, не прерываемая островами, далекая и широкая гладь озера. Вдали на высокой горе виднелся Пречистенский погост.

Михаил Федотыч, и на этот раз сопровождающий нас в качестве рулевого, быстро поднимается с места, снимает шапку и кланяется.

«Что ты кланяешься?» — спросили мы.

Михаил Федотыч, успевший уже сесть снова за руль, сконфузился и промолчал.

«Так уж ведется у нас»,— проговорил он наконец.

Только после долгих расспросов нам удалось узнать настоящую причину его поведения.

Дело в том, что на Водлозере, где, как уже было сказано, остался особенно в силе культ водяного царя и подвластных ему духов — водяных озер, рек и ручьев — ходит предание, что в «Железных воротах» обитает водяной. В существовании водяных население нисколько не сомневается; живо хранит оно это верование, подкрепляемое рассказами очевидцев или слышанными от очевидцев о том, как видели водяного-старика, который иной раз является снабженным гусиными лапами, в другой — похожим во всем на обыкновенных людей. Еще недавно один мужик из Кул-Наволока видел его в самых «Железных воротах»: он вылез на остров и, сидя на

камне, начал было гребнем расчесывать свои волосы, но при виде человека стремглав бросился в воду. Неудивительно поэтому, что, проезжая этот пролив — жилище водяного, водлозеры кланяются ему и часто, проехав мимо благополучно, крестятся. Впрочем, не одни «Железные ворота» страшны для Водлозера. Есть еще другой пролив, близ Ильинского погоста, где живет другой водяной, так называемый ильинский, в отличие от пречистенского — обитателя «Железных ворот». Интересно, что Водлозеро, по представлению народа, находится в ведении двух водяных; еще интереснее, что место их жительства определяют именно близь двух водлозерских погостов, как бы указывая на то, что там, где теперь стоят христианские церкви, прежде были священные языческие места. Вот какое предание ходит в народе относительно родства этих двух владык огромного озера. Ильинский водяной пожелал выдать свою дочь за сватавшегося за нее пречистенского водяного. Но у дочери водяного был и другой жених: водяной с Кенозера, которое прежде было соединено с Водлозером. Узнав о предпочтении, высказанном пречистенскому водяному, кенозерский водяной навсегда рассорился с ильинским, ушел к себе и дорогу к Водлозеру забросал камнями. Вот почему Кенозеро теперь не соединяется с Водлозером. А пречистенский водяной справил свою свадьбу и в приданое за молодой женой между прочим получил целый остров, который, везомый петухом, приехал с реки Илексы к дер. Большому Кул-Наволоку, т. е. в часть озера, принадлежащую пречистенскому водяному. И до сих пор стоит этот остров и носит название Петуний, потому что его привез чудесный петух. Как было сказано раньше, кустарник на этом острове считается священным.

Есть предание, что Пречистенский погост предполагалось построить на острове Шенгема, лежащем очень близко к Железным воротам. Но лес, пригнанный сюда для постройки, сам собою отплыл к тому месту, где теперь стоит погост. Набожный народ счел

это за нежелание Божией Матери иметь церковь на острове Шенгема и построил в честь Ее Рождества храм на выбранном Ею самой месте.

Теперь Пречистенский погост стоит на высокой горе, круто спускающейся к озеру. Выше елей, угрюмыми, мрачными стрелами поднимающимися к небу, высятся купола церкви. Между темно-зелеными ветвями едва сквозят белые стены ее.

Долго шли мы по чрезвычайно крутому подъему от озера до погоста, пока, наконец, приветливо не замелькали между деревьями постройки, относящиеся к домам причта. У загороди перед своим домом, с любопытством разглядывая нас, уже стояла матушка и настоятель погоста о. Василий — человек еще не старый, высокий и худой, в потертом подряснике, круглой фетровой шляпе и с туго заплетенной косичкой.

Нас приняли чрезвычайно радушно, будто старых знакомых. По прошествии первых минут разговор уже шел быстро и оживленно. Обреченные на скучную жизнь вдали от прихожан, наши хозяева, очевидно, были рады встрече с новыми людьми.

Особенно говорливой и любопытной оказалась матушка. О. Василий был более молчалив; он давал больше высказываться собеседнику, иногда покашливал вместо ответа и пытливо посматривал на говорившего своими серыми, часто мигающими глазами.

Он оказался, впрочем, большим хлебосолом. Матушка, поспевавшая и с разговором, и с хлопотами по хозяйству, скоро появилась с кофеем, разлитым в чашках. За кофеем последовал чай; между чаем и кофеем обносили лепешками, пирожками с вареньем и другим печеньем. А скоро засадили и за обед с ухою, студнем, рыбником двух сортов, вареной рыбой, и только после такого «постного обеда» (время было Петровки, и матушка извинялась, что не могла угостить лучше) о. Василий согласился исполнить нашу просьбу и показать нам церкви.

В Пречистенском погосте две церкви: старая и новая. Последняя выстроена недавно, окрашена в белую краску, так что издали походит на каменную; она представляет из себя высокий кубический сруб, увенчанный пятью куполами. Составляя гордость водлозеров, пожертвовавших много на ее построение, она тем не менее ничем не интересна. Старая церковь, судя по церковным записям, построена в 1752 г. Это типичная северная церковь, архитектура которой имеет свой особенный характер: продолговатый, четырехугольный сруб с высоко поставленными окнами, с чешуйчатыми куполами и барабанами, выходящими прямо из крыши, с красивыми сенцами и шатровидной, покоящейся на столбах колокольней. Внутри она разделена на две части. В первой хранятся старые церковные вещи; во второй, хотя изредка, происходит служба. Сначала церковь была шатровая; но она относительно недавно была поправлена, шатер уничтожен, и иконы подновлены на средства водлозеров. Сохранилась хорошо только одна старинная икона: это изображение Страшного суда, пожертвованное, как гласит надпись на нем, в 1786 г. водлозером Петром Афанасьевичем Лебедевым. Этот образ, по предположению отца Василия, был, вероятно, написан кем-либо из живописцев при Даниловском скиту. Живописцы из даниловцев были прежде в большой славе на Севере. Яркими, сохранившими еще свежесть красками, разрисованы тут ангелы, черти, змий, в огненную пасть которого архангел Михаил вталкивает грешников, мучения и казни за разные грехи, праведники, смерть-скелет, несущий разные инструменты в берестяных «крошнях» за плечами, и под надписью: «вода отдает мертвые свои», едущий на рыбе водяной, держащий в руке лодку, полную мертвецов.

Прекрасный вид на Водлозеро открывается с колокольни погоста. Все озеро лежит где-то далеко внизу. Взор свободно минует строения погоста, минует массу островов, тонущих среди светло-голубых вод, видит массу деревень, рассыпанных по берегам

и на островах, пашни, золотисто-зелеными пятнами выступающие среди темной зелени лесов, и останавливается там, где светлая полоса неба граничит со светлой полосой воды, закрытой пологом сероватого тумана.

Много рассказывала нам матушка о своем житье-бытье, жаловалась на безлюдье, на бедность своих прихожан, от которых зависит и их собственное благосостояние. Удерживаемые частыми бурями, прихожане редко являются к обедне; церковь зачастую бывает пуста. Только в Петров день — праздник в погосте — стекаются сюда водлозеры в огромном количестве, несмотря ни на какую погоду. Тогда погост оживляется. Пестрая толпа после обедни рассыпается по всей горе; располагаются на траве с припасами, привезенными из дому; другие, неся с собою свои кушанья, между прочим морошку, идут плакать на могилы родных.

Петров день — великий праздник для водлозеров. Сюда, на Пречистенский погост, говорит предание, ежегодно в этот день к самой обедне прибегал лось; его закалывали и ели все, пришедшие на праздник. Лось давно перестал прибегать на жертвоприношение; его заменили быком, которого приводили прихожане — но и этот обычай уже вывелся и живет только в предании. Общественные пиршества, так называемые «жертвы», не вывелись совершенно в Пудожском уезде. В полной силе они существуют в немногих местностях. Зато в многочисленных деревнях сохранилось предание всегда одно и то же, что в тот-то или в другой день прибегал к церкви или часовне олень или лось или прилетал лебедь*, что эти животные закалывались в качестве жертв. Но, прибавляет всегда предание, однажды не дождались жертвенного животного и заменили его быком (в других местностях бараном). Явился таинственный зверь, увидал замену и исчез; с тех пор всегда и режут быков и баранов. Теперь жертвенное жи-

* Поляков И. С. Зап. Императ. Геогр. о-ва. Отд-ние этнографии. Т. VII.

вотное покупается на общий счет, как, например, в деревне Корбозере; или же приносят в жертву так называемых «завиченных» баранов, как, например, в Авдеевской волости на озере Купецком. Здесь жертвоприношение происходит в праздник св. Макария Унженского, 26 июля. Св. Макарий считается покровителем скота. Вот почему, чтобы охранить свой скот от падежа или от «витренного волка» и «окаянного медведя» — часто же в благодарность за исцеление от какой-нибудь болезни, крестьяне «завичают» баранов св. Макарию. «Завиченный» баран отмечается в стаде: его откармливают и в день памяти уважаемого святого ведут к часовне его имени. Эта часовня стоит на берегу озера между дер. Бураково и Авдеевской. Сюда стекается народ со всей волости. Из Буракова приезжает священник и служит молебен. Затем он кропит жертвенное мясо святой водой. А потом начинается пиршество.

На Водлозере не сохранилось до сих пор жертвоприношения. Только старики помнят, как в Ильин день резали быка на Ильинском погосте и как в Конзе-Наволоке в тот же день приносили в жертву нетёлку[39]. О жертвоприношении на Пречистенском погосте, как уже сказано, сохранились одни только рассказы.

Горячо обвиняла матушка водлозеров: «и Петровщину*-то они плохо сбывают, да и за требы дают мало и неохотно. Даже за детей, которым далеко ездить каждый день в школу, находящуюся близ погоста, и которым дается убежище в доме священника,— даже за них редко дают какую-либо плату».

Только напоив нас во второй раз чаем, о. Василий согласился отпустить нас. Еще долго стояли на берегу провожавшие нас наши гостеприимные хозяева. Отец Василий делал нам прощальные знаки своей

* Два раза в год установлен сбор в пользу духовных лиц: «Петровщина», заключающаяся в сборе молока и масла, и «Осеньщина», состоящая в сборе рыбы. Собирают «Петровщину» и «Осеньщину» или сам священник с членами причта, или жены их. Понятно, что на Водлозере сбор, по бедности жителей, не может быть велик.

выцветшей фетровой шляпой; матушка махала платочком. «Кланяйтесь о. Иоанну»,— в последний раз донесся до нас по волнам ее голос.

Солнце уже садилось, когда мы подъезжали ко второму водлозерскому погосту — Ильинскому. Огненным шаром погружалось оно в серые, успевшие потемнеть волны. Жарко горел закат, бросая свой отблеск на озеро. На его ярко-красном, точно дышащем огнем фоне как-то особенно резко выделялся низменный остров и на нем пашни, изгороди, дома причта и окруженная несколькими елями деревянная церковь. С запада потянул ветерок; зарябились облитые пурпуром волны; тихо заколебались темные ветви елок на острове. Как бы внезапно оживилась вся картина, мирно дремавшая до сих пор.

Дорога к церкви идет между засеянных пашен причта. Рожь уже довольно высока и начинает колоситься. Бежит ветерок по этому морю зеленых колосьев. Между стеблями, склоняющимися волнами, точно огненные нити, сквозят лучи заката. Мы подходим к деревянной ограде, обнесенной вокруг церкви и кладбища.

Мирно спит кладбище. Под тенью елей возвышаются зеленые бугры — тут покосившийся крест, там полуобвалившаяся ветхая кивотка.

Церковь высокая с четырехугольной колокольней, недавно поновленная, недавно выкрашенная в темно-серую краску. Внутри сделан новый иконостас, но шатер оставлен.

О. Иоанн, вызвавшийся быть нашим проводником, выносит из церковных складов убранные по приказанию архиерея северные двери с изображением св. Христофора. По церковному преданию, этот святой, обладавший поразительной красотою, просил Бога обезобразить его. Ему дана была собачья голова. Св. Христофор в Водлозерском погосте изображен именно с такою головою. Преосвященный Ионафан,

епископ Петрозаводский, объезжая свою епархию, заметил этот образ и велел его убрать*.

О. Иоанн, низенького роста человек, с добродушным круглым, совершенно русским лицом, курносый, с реденькими русыми волосами, с живыми серыми глазами. Встретил он нас официально: «о. Иоанн, священник здешнего прихода». Минут через пять он однако вполне освоился с нами — стал болтать, шутить, подсмеивался над прихожанами и изъявил всякую готовность показать нам свой погост. Живет о. Иоанн уже давно в Водлозерском-Ильинском погосте. Он обладает гораздо большей энергией, чем о. Василий, и гораздо деятельнее ведет свои дела. Он и не скучает, и не жалуется на свое положение, находит время и почитать: выписывает себе «Церковный вестник» и «Ниву». О. Иоанн ведет летописи своего прихода — летописи дельные, толковые. Сочиняет он также проповеди. Он первый решился говорить в церкви не с печатанного, а своим простым водлозерским языком. Водлозеры сначала удивились такому нововведению и даже осуждали своего священника; но скоро привыкли слышать проповедь на понятном для них языке — и о. Иоанн чувствовал себя вполне награжденным за свои труды, слыша не раз, как в деревне спорили и обсуждали содержание его проповедей, между тем как читанные церковным языком наставления не производили желаемого впечатления.

...Каким образом тихо и незаметно подкралась ночь — белая, светлая. Был уже первый час, когда мы выехали с погоста. Узкой красной каймой гас закат на одном конце неба, и тут же яркой полосой зажигалась новая заря. Небо белое; волны светло-серого цвета. Холодно. Мы завернулись в пледы и легли на дно лодки.

Ветер нам попутный. Гребцы убирают весла и наставляют парус. Тихо кругом. Словно какая-то волшебная незримая сила везет лодку. Слышно только,

---

* В настоящее время этот образ находится в Историческом музее в Москве.

как вода журчит у носа да сзади нас тихо посвистывает рулевой.

Все больше и больше разгорается восток. Вот уже гребни волн окрашиваются в розовый цвет. Словно широкая полоса переливчатого розовато-серого цвета легла поперек озера. Порыв ветра рябит ее, с легким шумом проносится он в деревьях островов.

Тихо, тихо все. Мелькают острова, волны несутся нам вдогон. Вот на носу, полулежа, уже дремлют гребцы. Лодка кажется одушевленной, знающей сама, куда ей везти нас — словно все это сон... тихо, незаметно засыпаешь.

Пробуждаемся мы на берегу около Кул-Наволока.

* * *

13 лет тому назад было приступлено к постройке школы близ Водлозерского-Ильинского погоста. Предполагали выстроить ее в деревне Конза-Наволок, самом многолюдном из окрестных селений. Но священник Водлозерского-Ильинского погоста просил выстроить ее ближе к своему дому, чтобы ему было удобнее посещать ее. Вот почему здание школы одиноко высится теперь в пустынной местности между погостом и деревней Конза-Наволоком. Священника отделяет от школы только узкий пролив — деревенские же жалуются на то, что детям далеко ходить учиться.

«Будь у нас училище в Конза-Наволоке, сколько теперь стало бы ходить туда. А теперь, гляди, и в погост-то иной раз не выдастся съездить из-за погодушки — куда же в училище ребяток гонять? А зимушкой-то — у кого и одежонки теплой нет».

На отдаленность школы жаловались также и в Кул-Наволоке, откуда детей надо было посылать в училище при Пречистенском погосте, и в Авдеевской на озере Купецком, где за недостатком теплой одежды боятся пускать детей зимой в Бураковскую школу через озеро.

Школа водлозерская — здание высокое и большое. Тут помещается классная комната и квартира

учителя; кроме того, некоторые дети из дальних деревень остаются ночевать в школе. В настоящее время таких пансионеров только 5 (из 25 учеников).

Во время нашего посещения занятий в школе не было. Шли летние каникулы, продолжающиеся с 27 мая до 15 сентября. Просторная классная комната была пуста. Черные парты стояли унылыми рядами; висела запыленная карта; валялись полуисписанные листы бумаги; чернильница с высохшими чернилами и сломанное перо были оставлены на учительском столе. В углу печально стоял шкаф с убогой школьной библиотекой.

Дети, по свидетельству учителя М. С., выказывают большую охоту к чтению и большую любознательность. Берут книги из школы и взрослые. К сожалению, книг слишком мало — нечего почти и брать.

В неканикулярное время занятия идут в продолжение 5 часов. Преподается: Закон Божий, арифметика, русский язык и наконец «элементарные сведения об окружающем мире».

Эти элементарные сведения — как много вносят они разлада в умственную жизнь деревни! Гордясь новоприобретенными сведениями, ребятишки с сознанием своего превосходства объясняют все, что они слышали в школе, своим родным. Тут-то потрясаются вековые верования: солнце не ходит, Илья-Пророк не ездит по небу. Не верит этому старшее поколение, но замыкается в себе, побаиваясь насмешек молодежи. А новое начинает сомневаться в справедливости прежних суеверий, хотя и не совсем освобождается от них; зато иногда ветрено и легкомысленно попирает завещанное веками. И жалуется на молодежь старшее поколение: «Уже многие стали плохо хранить посты — разве только Великий пост соблюдают*; многие дотрагиваются до запрещенно-

* Особенно плохо соблюдается молодежью Петровский пост. К нему относятся даже с добродушной насмешкой. «Вишь, пост-то Петровский — бабий пост. Они его и выдумали — молоко про зятьев копить. Так его и не грех не соблюдать». Действительно, пост Петровский очень на руку хозяйкам: для них он самое удобное время скопить на хозяйство как можно больше молочных

го стариной, кое-кто пробовал заячьего мяса, другой отведал петуха*».

«Бают, того нельзя, другого не можно — а может быть, и ничего»,— говорит еще не совсем уверенная молодежь.

На том же острове, где стояла школа, жила хорошо известная водлозерам ворожея. Ее звали Марья, а по фамилии мужа Мудрой — ей было дано прозвище Мудричиха.

К Мудричихе часто приходили водлозеры за своими делами. Точно мудрая была старуха: знала она «слова» (заговоры) на всякие случаи, умела приворожить кого следует, умела тоску нагонять, лечила от разных болезней. Впрочем, в лечении она прибегала и к хитрости, как мы узнали потом: часто Мудричиха являлась к фельдшеру, жалуясь на какой-нибудь недуг: полученное лекарство она сохраняла и потом давала его своим собственным пациентам, соединяя это лечение с нашептыванием.

Учитель местной школы М. С. взялся познакомить нас с нею. Мудричиха была хорошо знакома ему, часто по долгим зимним вечерам приходила к нему беседовать и чувствовала вообще большую симпатию к молодому человеку, которого называла даже просто Максимушкой за то, что он всегда ласково обходился с ней.

Мудричиха оказалась женщиной лет 46-ти, еще вполне бодрой и здоровой. Морщинистое лицо ее с небольшими темно-карими глазами, зорко выглядывающими из-под полуоткрытых век, носило отпечаток смышлености и хитрости, несмотря на то, что она старалась всеми силами придать ему выражение добродушия.

«Что ты, Бог с тобой, Максимушка»,— проговорила она, отрицательно качая головой, когда М.С. объяснил ей мое желание услыхать от нее заговоры. «Сам знаешь — я никаких слов и не знаю».

продуктов (масла, сметаны, сыров), часть которых идет, однако, на отбывание Петровщины.

* Зайцев и петухов не едят в Пудожском уезде.

Но в М.С. она нашла плохого союзника: он продолжал настаивать на своей просьбе.

«Ведь отреклась я от этого давно, летушко мое красное — сказала, что больше никогда не буду никаких слов говорить»,— отвечала Мудричиха, и на лице ее было написано глубокое сожаление, что она не может удовлетворить моему желанию.

Оказалось, что о. Иоанн Водлозерский пригрозил ворожее, что не допустит ее к причастию, если она не откажется от своего ремесла. Мудричиха, конечно, не отказалась от такого выгодного занятия, но удвоила осторожность. Мы дали ей обещание, что о. Иоанн ничего не узнает. Старуха поколебалась. Ее сомнения исчезли окончательно, когда ей поднесли водки. Тут мне действительно пришлось изумиться: Мудричиха залпом выпила полный стакан, но водка ничуть не подействовала на нее, разве только придала ей немного смелости.

«Ну, садись — все тебе расскажу. Какие же тебе «слова»? Постой, скажу тебе «сглядные слова». Ты красная девушка, на бесёду ходишь — такие слова скажу, чтоб все «холостые» за тобой ходили. Садись же скорей; ну, пиши».

И Мудричиха передала мне многие средства наводить красоту: шептаньям на мыло, на воду, умываньям с яйца, положенного в муравейник, и т. п.

«Постой, вот какие слова тебе скажу». Мудричиха снова подкрепилась стаканом водки. Она сделалась вдруг веселой; глаза на минуту разгорелись, деланное выражение доброты вдруг исчезло. «Ты ведь не скажешь о. Иоанну? Крепко уж ругал меня батька. Ну, какие же слова? Вот «судебные». Порато хорошие слова: судиться ли будешь, перед начальством ли отвечать, ведь мало ли какой случай выйдет — проговоришь их — все ладно будет».

«Вот Максимушка-то все серчает на меня, бранит, будто детей учу недоброму. А как же? Я кажному из них слова эти самые «судебные» нашепчу. Только что он не знает. Жаль ребяток: иной урок не выучит; только и нашепчешь ему — все пройдет. А и

сам Максимушка — начальство-то к ним приезжало сюда. Отчего, ты думаешь, сошло все хорошо: я ведь нашептала. «Только ты ему не сказывай». И Мудричиха рассмеялась, радуясь удавшемуся обману.

Подошедший к нам М.С. заметил ворожее, чтобы она не останавливалась на обыкновенных заговорах, но сказала бы также, как нагонять тоску и разлучать двух людей.

«Это гораздо интереснее»,— тихо сказал он мне.

Осторожность и опасливость мигом закрались в ее глаза. Мудричиха вся встревожилась.

«И не знаю я таких слов»,— почти обиженно сказала она.

«Нехорошие эти слова. Не грех ли тебе, Максимушка, возводить на меня...»

«Ты же сама мне говорила их...»

«Греха такого на душу не возьму,— энергично закачала головой Мудричиха.— Сказала раз и больше не буду. Грех-то какой». Мудричиха закрыла себе лицо руками.

«Поразмысли: ведь я тебе скажу — ты сделаешь что-нибудь. На моей душе грех будет, что научила тебя»,— объясняла она свой отказ. В голосе звучало мучительное беспокойство.

Я побожилась, что никогда не буду употреблять этого заговора, что мне только интересно послушать его.

«Нет, нет, грех-то — Господи, помилуй меня грешную... Ты еще кого-нибудь научишь, все мой грех будет»,— решившаяся было совсем Мудричиха вдруг снова испугалась.

«Никому не скажу и сама разлучать никого не буду, говорю перед Богом»,— сказала я.

«Пиши!» — с внезапным порывом энергично произнесла Мудричиха. Боялась ли она, что мужество снова оставит ее? Она выпрямилась, крепко прижала к груди сложенные вместе руки и с выражением ужаса на лице, сдавленным голосом стала быстро говорить:

«Стану *не* благословясь, Господом *не* прощена, отцом, матерью *не* благословенна — («Господи, страсть-то какая,— прошептала она,— Господи, помилуй нас»), выйду из избы *не* дверьми, из сеней *не* воротьми*, выйду чертовыми следами и лесовичьими тропами, выйду в чистое поле, в широкое раздолье. В чистом поле, в синем море стоит габанище; в этой габанище стоит цельнище (лодка). В этой цельнище сидит черт с чертовкой. Сидят они, лицами порозно, ноги руце сцепаются и навстрету не встретаются; в одно место не дунут, в одно место и не плюнут; одной думы не думают, одного совета не творят и любови не ведут. Также бы раб Божий (имярек) сидел бы с рабою Божиею (имярек) лицами порозно, в одно место не дунут, в одно место и не плюнут, дерутся и сцепаются и навстрету не стретаются, одной думы не думают и совету не ведут и любови не творят».

«Без аминя тут»,— шепотом добавила Мудричиха.

Она кончила и, будто облегченная, откинулась назад.

«Молодец старуха,— проговорил М. С.,— выпей теперь». Мудричиха не заставила себя просить.

Вино благодетельно подействовало на нее: усыпило в ней угрызения совести. Мудричиха стала снова весела, начала откровенно жаловаться на о. Иоанна, говорила про свою бедность, попросила у М. С. щепотку чаю, даже заплясала под конец....

Когда через час мы уезжали, Мудричиха вышла на берег провожать нас.

«Прощай, летушко мое красное,— говорила она, обнимаясь со мною.— Не забудь ты меня, старую».— А в глазах таилось беспокойство. Не сожалела ли она, сказав так много незнакомому человеку, о своей неосторожности?

---

* Обычная формула начала заговоров совершенно такая же, только без отрицательных частиц. Впоследствии удалось мне слышать от других ворожуний подобные заговоры. Все они отказывались сначала от знания их, потом после долгих просьб произносили их, но всегда с глубоким страхом.

IV
КЕНОЗЕРО

Солнце уже садилось, когда мы наконец, после утомительного 110-верстного пути, въехали в небольшую бедную деревеньку Тамецкую Лахту, раскинувшуюся по берегу небольшого залива Кенозера.

Ямщик, молодой парень, надвинул на затылок черную поярковую[40] шапку с приподнятым передним полем, открывавшим густые светлые волосы, поправился на облучке и лихо подвез нас к большому дому, резко отличающемуся от окружающих его бедных, закоптелых и покривившихся изб. Это большой, двухэтажный крашеный дом, совсем городской постройки; рядом с ним тянется окрашенная в пестрые цвета изгородь, окружающая огород и сад с беседкой. Это дом урядника[41] Фофанова.

Нас вводят в верхний этаж — две большие комнаты исключительно предназначены для гостей. Чистота и порядок повсюду. Видно, что зоркий глаз с любовью смотрит за убранством этих комнат: крашеные полы и новые обои, вязаные салфетки на столах, белые занавески на окнах, заставленных цветами; в стеклянных шкафах, прислоненных к стенам, выставлена посуда; на стенах вывешены портреты, премии «Нивы»[42] и, как и повсюду в деревнях, ближе к образам виды Соловецкого монастыря. На столах разложены переплетенная по годам «Нива», отдельные номера этого журнала, «Олонецких губернских ведомостей» и «Сельского вестника». Остальные комнаты наверху занимает сам урядник с женой и двумя дочерьми. Убранство их похуже; но везде крашеные

полы и обои; тут же красуется недорогой, но массивный письменный стол урядника.

Урядник Фофанов из крестьян. Тамецкая Лахта его родина. Он не покинул ее, поступив на службу, и не отделился от родной семьи. Фофановы живут до сих пор «большою семьею»: их теперь 30 человек. Вся семья занимает низ большого дома, состоящего из четырех обширных горниц; это совершенно крестьянская семья.

Урядник, Андрей Григорьевич — большак в этой семье. Ему, соединяющему в себе авторитет главы семьи и человека, превышающего родных своим образованием, живется легко — между тем как вся крестьянская работа лежит на подвластных членах.

Живется хорошо и его жене и дочерям. У девочек нет никаких обязанностей: ходят они одеты хорошо (старшая уже по-городскому) и мало сообщаются со сверстницами, живущими внизу. Большуха, Анна Гавриловна, только распоряжается работой, приказывая то тому, то другому, смотрит за порядком — но сама редко прилагает свои руки к чему-либо, кроме стряпни на мужа и дочерей, о чем ясно свидетельствует весь внешний вид ее, чистый, подчас щеголеватый, о котором не может даже мечтать занятая повседневной работой баба. Любимое развлечение Анны Гавриловны — приезд гостей. Все проезжающие чиновники останавливаются в их доме. Со всеми состоит в хороших отношениях приветливая, ласковая хозяйка.

«Все нас любят; все у нас побывают,— говорила она простодушно.— Да мы ни с кого денег и не берем; а потом то тот, то другой гостинчику пришлет — оттого-то у нас всего много. Вот на сарафан дочке намедни привезли да огурчиков прислали; у нас ведь их нету».

Анне Гавриловне надо отдать справедливость, ведет она хозяйство замечательно. Она сама водила нас повсюду: показывала нижний этаж, сарай, хлев, огород и сад, с улыбкою удовольствия выслушивая наши похвалы. «Хорошо наше место,— сказала она

наконец, обводя довольным взглядом свой сад и тянущиеся за новой пестрой изгородью луга, леса и залив, пропитанные лучами заката. Как-то странно звучали эти слова: до сих пор приходилось только слышать жалобы на место, на жизнь, на тяжелую работу; в первый раз мы видели в деревне полное довольство.

Оказалось, что деревня Тамецкая Лахта относится уже к Каргопольскому уезду; но что стоит только проехать еще 8 верст и очутиться снова в Пудожском уезде, в Вершининской Кенозерской волости.

Мы переночевали в Тамецкой Лахте и на следующее утро отправились дальше, в деревню Вершинино.

* * *

«Не пойдешь гулять с девушками нонче? Нонче ночью девушки у нас гуляют... ведь Иваньская ночь...» — говорила мне вершининская большуха. Это была маленькая, худенькая, как бы высохшая женщина, уже давно больная, проводившая почти все время в постели.

«Много гуляли мы, бывало, красное солнышко. Ох, такая ли я была? — продолжала она певучим голосом.— Девушка была я красная, наряжусь я баско[43], пойду на бесёду. А бесёдников* много у меня было, боженая, ой, много».

«А на Иваньскую-то ночь чего-чего мы не делали. Так ли нонче гуляют девушки? Мы, бывало, поедем туда, в поле, с конями — слышим: кони скачут — значит, «холостые» (парни) едут к нам. И веселье у нас там идет, до зари до самой. Огник большой зажжем — скачем тоже через него. Теперь уж того нет, что прежде бывало».

---

* Бесёдником, или играком, называют того, кто «сидит с девушкой» на бесёде, т. е. ухаживает за ней. Иметь наибольшее число бесёдников льстит всегда самолюбию девушки.

«Сама бы тебя всюду сводила...— продолжала большуха.— Ох, невмочь-то мне с места сдвинуться... Да вот за Матреной Мамаевой послать надо».

«А на что? — вон Поля сводит»,— указала на свою девочку сноха.

«Что Пелагея знает? — морщась и довольно резко перебила ее большуха.— Матрена знает травы — она все толком расскажет».

Но Матрена, как оказалось, уехала на озеро ловить рыбу, и нам с братом пришлось взять в провожатые Полю и ее подругу Феклушу.

Вечер был довольно темен, когда мы вышли из дому. Мимо нас проскакало несколько парней — они все выезжали в ночное.

«И мы туда идем сейчас»,— крикнула им вслед Поля.

Место, где собираются пасущие коней, и есть место гулянья в Ивановскую ночь.

По густой, росистой траве шли мы с девочками к месту сбора. Ночная свежесть порою дрожью пробегала по телу. Впрочем, было тихо и довольно тепло. Беззвездная, светло-голубая ночь, не успевшая еще побелеть, глядела сверху.

Коней пасли на краю обрыва, спускающегося к озеру. Огромный костер жарко пылал, и масса огненных искр летела вверх; прогорев несколько минут яркими звездами в прозрачной синеве, они гасли. Темные фигуры лежали и сидели вокруг огня. Лица, освещенные ярким пламенем, казались особенно смуглыми, глаза более блестящими.

Кругом тишина. Все спало. Тонули в туманной дали росистые луга и пашни, выделялись серебристыми пятнами извивы Кенозера. Тут и там деревни, леса и рощи — и все закутано в голубую мглу.

Издали порою доносился храп лошадей, ходивших по обрыву, шум зацепляемых ветвей низкого кустарника — все это так явственно в ночной тиши. Разговор между тем шел оживленный.

«Э, подложить в «огник» (костер) надо будет»,— встал внезапно рослый парень, с глуповатым лицом

и с чрезвычайно самодовольным видом. Его звали Пешей.

«Степка, неси «ферязи» (можжевельник), чтобы лучше горело — ведь Иваньский огник»,— крикнул он мальчику лет 10-ти, лежавшему у костра в длинном синем холщовом армяке. «Эй, Воробей, слышишь?» Воробей, оказалось, было прозвище Степки.

Брошенный в костер можжевельник сильно задымил; горячие искры посыпались с новой силой.

Подошло несколько девушек.

«Коней смотрели?» — спросила одна из них.

«Давно уж не смотрели. Пойти бы?»

Некоторые встали и пошли посмотреть лошадей.

«Давайте катать девушек»,— предложил громко Степка и сам подбежал к Феклуше. Но девочка удачно вырвалась, толкнула его, и Степка пролетел несколько шагов по обрыву.

«Глянь-кось, глянь-кось,— вдруг испуганно закричал он,— решето золотое катится, клад, должно быть; я взаправду видел, катится оно так под гору».

Несколько человек подошло к обрыву, внимательно вглядываясь в его темную глубину.

«Глуп ты, Степка, так он тебе и дастся»,— заметил Пеша.

«Пойти бы посмотреть — авось достали бы»,— произнес нерешительно мальчик.

«Пой сам — отыщешь. Одному, небось, идти-то надо».

Степка в нерешительности простоял еще некоторое время у обрыва.

Навстречу нам между тем шла баба, ведя за собой лошадь.

«А ваши кони где?» — спросила она.

«По обрыву пустили — вона, слышь, ходят. Да мало наших нонче — девушки, вишь, не идут».

«Мало... на озеро, чай, поехали».

Баба помолчала с минуту и затем обратилась ко мне:

«Из Питера, чай, будешь?»

«Нет, из Москвы».

«Из Питера!.. побывала в Питере, так все про него и думает»,— засмеялся кто-то.

«А баско в Питере, порато[44] баско... дома-то какие. Ой, жила и я в Питере, голубушка».

«Всего-то дня два и жила»,— насмешливо отозвался Песа.

«То правда, что недолго — а баско там, ой, баско. Вон, опять туда хочу — наймусь в няньки, в кухарки ли»*.

«Наймешься!..» — Песа выступил вперед и начал быстро говорить, махая руками. «Знаю я — всех вас в Питер тянет. Наймешься! Возьмет-то кто тебя? Ты к той работе непривычна, да и не так-то живется там. Как-то с тебя требовать начнут...»

«Ой, что расходился-то так? Сам не бывал в Питере и не знаешь ничего. Там житье-то какое: чаю, кофию дают».

«А вон не были мы в Питере, да разумнее судим, потому: разум у нас есть»,— с жаром отвечал Песа.

«Да и как ты там с кофием-то своим проживешь. Все тебе чужие — знать тебя никто не хочет — а тут-то, у себя, что хошь, то и делай. Вон оно что».

Песа, довольный своею собственной речью, с торжествующим видом отвернулся.

«Эй, ребята, огник-то наш тухнет!» Парни бросились за хворостом. Снова жарко запылало пламя.

«Матрена, Матрена Мамаева!» — поднялось вдруг со всех сторон. К костру только что подошла новая девушка.

Она была одета в белый балахон, сверху повязанный кушаком; полинявший платок плотно охватывал голову. На руку была надета большая корзина. Песа первый подбежал к Матрене и повалил ее на землю. За ним начали и другие. Пошло настоящее веселье. Парни нападали на девушек, девушки друг на друга; упавших на землю катали по росе — иные успевали проговорить необходимые слова: «Я тебя по росе ка-

* Нам вообще часто случалось замечать в народе стремление уходить в Петербург, где думают найти лучший заработок и лучшую жизнь.

таю, зови меня божаткой* (или крестовым отцом)»,— другие от смеха ничего не могли произнести.

Робкая Феклуша притаилась между мной и братом, сознавая безопасность этого положения. Парни смеялись. Девушки с криком оборонялись и увертывались, насколько это было возможно. Матрена вырвалась первая.

Она подобрала выпавшую из рук корзину и собралась уходить.

«Куда ты?.. Она травы рвать идет... Небось мать велела»,— крикнули ей вслед.

«Я пойду с тобой»,— сказала я Матрене.

«Пой»,— она дала мне руку и помогла спуститься на тропинку, бежавшую по склону обрыва, прорезывая его поперек. За нами пошли Поля и Феклуша.

Матрене Мамаевой было 18 лет. Круглое, румяное лицо ее с толстым носом и большими серыми глазами не отличалось красотой; но на нем было какое-то особенное выражение тихой задумчивости, которая невольно поражала. Семья ее была бедная; Матрена вечно на работе. Большое горе доставляла ей невозможность принарядиться, как следует, наравне с другими подругами; но и это горе она переносила кротко.

Бабушка, мать и тетка Матрены занимались лечением. Они знали заговоры, травы, способ ворожбы и, без сомнения, часть своего знания передали Матрене. Матрена выросла среди этих верующих в свое знание старух и сама твердо верила в него. И теперь, медленно двигаясь по росистой тропинке, между преграждающими нам путь густыми ольховыми кустами, нагибаясь, чтобы сорвать тот или другой цветок, она, казалось, находилась вся под влиянием таинственности этой ночи.

«Все травы теперь хороши»,— говорила она. Голос у нее был мягкий, даже слишком тихий, и говорила она медленно.

---

* Божатка — крестная мать.

«До Петрова дня теперь все травы хороши, и ругать их грех. Мамо меня учила — все травы надо теперь брать».

«Вон клопенник — он у нас от клопов идет — сорвите-ка, девушки»,— указала она на росший невдалеке папоротник Поле и Феклуше, которые все время старались идти впереди, вероятно, испытывая неприятное ощущение оставаться в арьергарде.

«Клопенник, говорят, цветет в Иваньскую ночь»,— заметила я.

«Да, барышня у нас жила — учительница — у нее книжка такая была; она говорила, что цветет. Я не видала. А баско цветет?»

«Я тоже не видала».

«Трудно увидеть, должно быть: слова какие-нибудь тут надо знать».

«Ой, цвет-то какой — глянь! — Матрена увидала вдруг лиловую орхидею.— Постой, у него корешок есть такой, чудной он. Должно быть, хорошая трава».

Она с трудом вырыла из земли клубни орхидеи. Девочки с удивлением рассматривали белый пальцевидный корешок.

«Видишь какой, это тебе,— подала мне его Матрена,— такой редко попадется, да и видишь, как трудно доставать-то его. Бери, да вот еще тебе трав разных, бери — сегодня под подушку положишь — «богосуженого» во сне увидишь».

Девочки между тем начали рвать ветки ольхи.

«Ладно, девушки, кладите их сюда в корзину. Да рвите побольше — чтоб и на картошку хватило, и на венички. Ферязи и березки надо нарвать еще*».

«На кряже есть — мы мимо шли давеча, да позабыли нарвать».

«Надо будет пойти на кряж»,— тихо заметила Матрена.

Тропинка внезапно затерялась в густой, высокой траве небольшого луга. Ночь успела уже побелеть: было почти совсем светло. Вдали виднелись крыши

---

* Из ольхи, березы и можжевельника вяжут так называемые Иваньские венички, которые служат при лечении коров. Ольховые ветви втыкают также в картофель, чтобы он лучше уродился.

Вершинина. За деревней беловатой полосой тянулось заснувшее озеро.

Совершенно мокрая трава неприятно била по ногам. С озера потянул ветерок. Изгородь, наполовину заросшая ольховыми кустами, заступила нам дорогу. Заскрипели и закачались под нашими ногами жерди изгороди. Задетые нами, мокрые ветки ольхи стряхнули на нас целый дождь светлых капель росы.

Мы очутились у подошвы зеленого холма. Надо было взобраться на него, чтобы достать можжевельнику.

«Ищут у вас кладов?» — обратилась я к Матрене.

«Ходят искать — только редко теперь стали. Трудно дается».

«У нас вот что было»,— начала она. Феклуша и Поля приблизились к ней и приготовились слушать. И любопытство, и страх отражались в их взглядах.

«В поле мужики у нас работали. Вдруг видят: баба стоит — с рогами — клад это самый и был. Стоят они и смотрят, а подойти сами не смеют. Так она и рассыпалась тут же на их глазах, пока они глядели. И стала тут груда камней. И до сей поры лежит, говорят... Не умели зачурать, значит»,— прибавила после некоторого молчания Матрена.

«Много слов надо знать; вот иная трава без слов ни на что не годна»,— вдумчиво проговорила опять Матрена, помолчав еще с минуту.

«Вот чертополох — знаешь, трава такая есть. Рвут его в лесу, дальше от дому, чтобы петуна[45] не слыхать было. Тогда и поможет он — дворовой[46] скотинку не будет мучить. А сорви его близко, тут — ни к чему и не пригодится. Знать надо, как и когда какая трава хороша»,— кончила она. И голос ее, тихий и медлительный, как-то странно звучал среди молчания этой тихой светлой ночи, медленно проносившейся над залитой ее беловатым светом землей.

Деревня еще спала, когда мы, наконец, вернулись домой. Издали как-то особенно явственно среди ночной тиши слышался топот коней, возвращавшихся из ночного.

* * *

На следующий день — ясная солнечная погода. Матрена пришла за мной.

«Пойдем гулять в поле; в поле хорошо»,— сказала она. За нами тотчас же поплелись две-три маленькие девочки; пошел и вчерашний мальчик Степка—Воробей.

За самой деревней Вершинино круто поднимается берег Кенозера. На хребте этой возвышенности, доминируя над всей деревней, стоит старинная часовня Св. Николая Чудотворца. Она стоит не в роще, как большинство часовен в Пудожском уезде, но посреди ровного места, занятого вперемежку лугами и пашнями. Глубоко чтится она местными жителями. Земля вокруг недавно только стала обрабатываться: прежде никто не осмеливался брать ее под пахоту.

Это-то место и называется «полем»; здесь происходят гулянки молодежи, подобно тому, как в других деревнях она гуляет преимущественно в часовенных рощах.

Теплый ветер встретил нас в «поле». Волнами склонялась под ним облитая солнцем трава лугов. Серая пахотная земля то взбегала на крутой холмик, то спускалась в лощинку и врезывалась в полосу ржи или овса, то внезапно расступалась и давала место цветистой, неправильной формы, меже. А кругом даль — широкая даль. Да, хорошо было в «поле».

Светлыми струями капризно и грациозно разлилось Кенозеро в мягких, низменных и зеленых берегах. Тут большой залив; там узкий, длинный наволок (мыс). Вот оно пропадает совсем и вдруг с другой стороны поля покажется снова, светлое, смеющееся. Вот опять забежит за большой зеленый остров и снова блеснет уже в третьей стороне. Вот на горизонте мелькнет едва заметная светлая полоска... и это Кенозеро.

Мы усаживаемся, наконец, на краю небольшого обрыва. Вдали видна деревня Шишкино и священная рощица на мысу, вдающемся в Кенозеро. Степка ложится на землю, подложив под себя скрещенные

на груди руки и, побалтывая в воздухе ногами, кусает траву.

«Ты бы нарвал лучше трав,— замечает Матрена,— вон их сколько — и баские какие. Теперь все травы хороши; ребятки, знаете?»

Девочки встали и, путаясь ногами в длинных праздничных сарафанах, сшитых на рост, побежали рвать цветы. Матрена брала их и бережно клала к себе на колени. Сама она достала из кармана крючок и вязанье.

«У нас поповны так вяжут; мы и научились с Феньшей,— ты видела ее вчера ночью,— проговорила она.— Феньше-то они подарили крючок, а я сама себе сделала — вон так спицу надрезала. А ведь баско?» — и она развернула перед мною свое вязанье.

Стали разговаривать об играх. Оказалось, что на Кенозере наряду с кадрилью и лансье сохранились и прежние игры.

«Игр много. Холостые с девушками играют, и ребята маленькие в то же — все одно. Сойдемся сюда, девушки, в поле; придут холостые, да и ребятки тут же все и играют. Вон они пущай сыграют — покажут тебе. Сыграйте, ребятки,— обратилась она к детям.— Ну, хоть в «оленя», знаете? Ну, кто «оленем» будет?»

Но дети конфузились, улыбались и молчали.

«Ну, какие вы — ну, хоть ты, Таня, будь; ну ты, Ганя. И я с вами петь буду!»

Но никто из детей не откликался на ее предложение. Девочки крепко прижались друг к другу.

«Я буду оленем»,— вдруг громко заявил Степка.

«Ну, так, ладно — а вы, девушки, все боитесь,— с укоризной заметила Матрена.— Ну, становитесь и пойте!»

Она начала сама; девочки запели за ней, сначала не смело, потом все громче и громче:

Дядюшка олень,
Да спусти нас гулять;
Не долго, не долго —
До сего вечеру;
Поутру встань,

Да коров застань,
На поскотину сгони,
Соловьем засвищи.

Затем последовал быстрый разговор между Матреною и Степкою: «Где был?» — спросила Матрена. «У тещи»,— ответил олень. «Что ел?» «Кашу». «Чем ел?» «Ложкой». «Где взял ложку?» «В зыбке под пеленкой». «На сколько же отпустил?» «По всей по матушке по Руси». При последних словах девочки бросились бежать в разные стороны, а Степка мигом привскочил с земли и кинулся на них. В какие-нибудь две минуты все девочки были пойманы.

Потом дети сыграли в «бабушку». Бабушкой была Матрена; девочки изображали ее барашков; Степка захотел быть волком. Он лег на обрыве и делал вид, что караулит овец. «Бабушка» между тем начала звать свое стадо: «Овечки, овечки, бежите домой!» Девочки стали рядом и в один голос отвечали, что не могут. У них выходило это особенно хорошо, когда они в один голос не то говорили, не то пели в ответ «бабушке»: «Боимся!» «Чего вы боитесь?»,— спрашивала Матрена, в то же время работая над вязаньем. «Волк под горой»,— отвечали овечки. «Что он делает?»— спросила опять бабушка. «Малых, серых утушек щиплет». «Бежите, бежите!» — уговаривала бабушка. И овечки побежали. Но волк недаром караулил их, и напрасно девочки бежали изо всех сил, крича и визжа,— Степка переловил их всех, усадил к себе, в свой дом, и лег возле них, стеречь своих пленников. «Волк,— начала затем снова бабушка,— не видал ли ты моих овечек?» «Да вот одна у меня»,— произнес на это заученную фразу Степка, который уже снова флегматично лежал на земле, болтая ногами в воздухе. «Ну, отпусти». «Пущай бежит». Освобожденная овечка перебежала к Матрене. За ней последовали и другая, и третья.

«А вона и мы пришли!» — раздался вдруг за нами чей-то громкий голос, и в траву, около Матрены, грузно повалился вчерашний парень Пеша.

«Ой, испугал ты меня!» — произнесла Матрена — и тотчас тихо улыбнулась.

«А мы уходить собирались»,— мы, действительно, спешили домой.

«Эх, поздно пришел!» — промолвил Пеша, запустив руку в густые белокурые волосы.

Он лениво приподнялся и поплелся вслед за нами. Матрена молчала весь обратный путь; Пеша отделывался от приставаний Степки. А девочки шуршали по траве своими сарафанами.

* * *

День нашего отъезда с Кенозера совпал с праздником Тихвинской Божией Матери[47]. Рано утром послышался веселый перезвон маленьких колоколов в часовне Николая Чудотворца над Вершининым, и мимо избы наших хозяев потянулся вскоре пестрою цепью крестный ход. Он направлялся из Дьячковского погоста в деревню Шишкино. Против вершининской часовни, на деревенской улице, он остановился. Отслужили наскоро молебен, и, спеша, двинулась дальше пестрая, яркая толпа, увеличившись от присоединившихся к ней вершининских обывателей. Часам к четырем еще не возвращались с образами; зато вернулась часть богомольцев, из тех, кто не остался у своих знакомых соседних деревень. Вершинино огласилось звуками гармоники и громкими песнями.

Девушки на прощанье повели меня в «поле».

«Ты слыхала наши песни вчера — мы еще по озеру ехали — пели?» — спросила меня подруга Матрены, бойкая Феньша, идя рядом со мной.

Накануне вечером мы гуляли по берегу. Вечерняя мгла скрывала от нас едущих в лодке посередине озера, но явственно, несмотря на ветер, колебавший потемневшие волны, доносилась до нас громкая песнь.

«Это мы для вас пели,— робко сказала Матрена, опустив голову.— Мы с Феньшей увидали вас на берегу — и стали петь...»

Мы пришли в ту часть поля, где в «Иваньскую ночь» был зажжен костер.

Большой черный круг виднелся на примятой траве; полуобгоревшая широкая ветвь с покоробившимися листьями лежала тут же. Девушки уселись близ бывшего огника.

«Какую песню тебе спеть: «досюльную» (старинную) или новую?» — спросила Феньша и, кажется, осталась не совсем довольна моим желанием услышать «досюльную». Девушки затянули заунывный мотив.

«Споемте, девушки, споемте «Смоленское кладбище»,— просительным голосом проговорила Матрена после окончания этой песни.

«Давайте, девушки, «Смоленское кладбище»,— сказало несколько голосов.

«Смоленско кладбище красиво,
Там соловейки все поют...»

запели девушки. Слова, мотив и крикливые ноты сразу унесли меня в подмосковную деревню.

Матрена опустила голову; ее рука рассеянно щипала траву; на глазах блестели слезы.

Песня часто вызывает слезы у олончанина.

«Досюльные песни лучше»,— проговорила я.

Девушки молчали — они не были согласны со мной.

«Знаешь, какую песню у нас поют, когда девушку увозят? Слыхала, чай, увозят у нас девушку, коли волей не отдают»,— проговорила после некоторого молчания одна из присутствующих.

Действительно, на Кенозере случается еще до сих пор увоз девиц. Парень, за которого родители не хотят отдать своей дочери, соглашается с нею взять ее увозом. Вступают в заговор с подругами девушки, которые знают, когда и как произойдет увоз. Парень обращается к какой-нибудь бабе, просит ее быть так называемой «сватьей», т. е. позволить привезти к ней в дом невесту. Наступает назначенный день: жених с товарищами является на бесёду и схватывает невесту. Похищение происходит быстро, так чтобы ни-

кто в деревне не заметил этого и не успел бы предупредить родителей. Случается, что уведомленные родители останавливают вовремя бегущих — и тогда невеста должна по требованию их возвратиться в свой дом. Большею же частью парень успевает увезти девушку к «сватье», у которой девушка остается до тех пор, пока жених не помирится с родителями ее. В случае окончательного нежелания родителей девушка возвращается к ним. Если же парень сумел умилостивить их, он едет с невестой венчаться и из церкви отправляется к ее родителям «прощаться». Обыкновенно родители встречают дочь с иконой. После увоза девушки с бесёды подруги ее собираются в круг и поют известную песню. Тогда вся деревня знает, что одна из девушек похищена.

Громко лилась теперь эта песня: девушки пели ее с особенным воодушевлением.

Вдруг резко прервалась она.

«Кого же величать?» — спросили некоторые.

«Да Феньшу, конечно...»

«Перестаньте, девушки; вот вздор выдумали»,— нерешительно отказывалась Феньша.

«Нет, Феньшу, Феньшу — Феньшу и Василия...»

Феньша отвернулась, стараясь казаться недовольной — но против желания улыбалась.

«Тише, девушки, пойте,— произнесла Матрена, показывая головой на деревню, виднеющуюся на том берегу озера,— услышат еще».

И, понизив голос, посмеиваясь и лукаво поглядывая на Феньшу, девушки вполголоса кончили песню.

Лошади должны были быть уже готовы — мы возвратились домой.

На возвратном пути снова пели — и опять послышался знакомый избитый мотив «Каз-Булата» и снова та же несчастная «Мальвина», бог знает как и когда проникшие сюда и с увлечением распеваемые деревенскою молодежью.

V
К БЕЛОМУ МОРЮ

В серый, пасмурный день уже знакомый нам пароход «Геркулес» пристал к Подпорожью. Несмотря на то, что сеет мелкий, частый дождик, окутывая холодной серою мглой всю окрестность, на пристани толпится масса народу.

Есть здесь кое-кто и из обывателей Пудожа, приехавших взять с парохода некоторые припасы, не имеющиеся в городе, как то: огурцы, лимоны и т. п., или поболтать за бутылкой пива со знакомым капитаном. Приехали и мужики из соседних деревень. Коренастые фигуры в грубых белых балахонах кричат, спорят о чем-то, протискиваются между сдвинутыми в сторону телегами, суетятся около парохода.

На пароходе есть работа: надо наносить дров и сложить их на палубе. За это назначена плата.

«Вот как приучают наш народ к пьянству,— заметил нам один из жителей Пудожа.— За эти дрова им дадут каких-нибудь 50 коп. и выйдет по две копейки или так по полторы на человека. Понятно, они лучше пропьют их вместе. Тут кстати и трактир есть».

Эти слова вполне оправдались. Через час, ко времени отъезда, пароход провожала уже сильно подгулявшая толпа.

Онежское озеро встречает нас бурными, свинцовыми волнами. Мирная Шала только что успела вынести пароход в озеро, как нас начинает качать.

Наставляют паруса, и окрыленный, точно большая, сильная птица, «Геркулес» принимается нырять по серым волнам.

...Уже вечереет. Ветер стих. Повисли серые паруса. Волны улеглись, и только мелкая рябь напоминает о бывшем волнении. Грозные лиловато-серые тучи на горизонте прорезываются будто широкою щелью оранжевой полосою заката. Вдали мелькает берег с мрачной стеной елового леса.

На следующее утро, при ярком солнечном свете, мы подъезжаем к Повенцу.

Несколько прямых улиц, перерезывающих друг друга под прямыми углами, деревянные домики — между ними несколько крашеных,— пристань, рыночная площадь, низенький миниатюрный собор — вот и весь Повенец.

Известно, что Петр I, во время своего похода из Архангельска к берегам Балтийского моря, останавливался некоторое время в Повенце. Он успел и в короткое свое пребывание оставить здесь следы своей энергичной деятельности.

Им были спущены тут в Онежское озеро два фрегата и основаны два завода: чугуноплавильный и медный. Тогда Повенец еще не считался городом. Только в 1784 г. он получил это название. Затем при Павле оно было снова отнято у него, но возвращено уже при Александре I*. Назначению считаться уездным городом Повенец обязан присутствию в нем нескольких чиновников, которые и составляют высшее общество города.

Остальные «городские обыватели занимаются хлебопашеством, огородничеством, ловлей рыбы для собственного потребления: мужчины уходят даже на заработки в Петербург и работают на лесопильных заводах»**.

Развлечением жителей служит трактир да приход пароходов из Петрозаводска и Вознесения.

---

* См.: Путеводитель по России. Север. СПб., 1886.

** Памятная книжка Олонецкой губ. 1868—1869 гг. Ч. II. С. 20.

* * *

С обеих сторон на далекое-далекое пространство идет сосновый лес. То уже не дремучий, сочный бор Пудожского уезда. Сосны стоят редко, желтые стволы ниже и тоньше; внизу стелется огромными белыми пятнами ягель, кое-где перемежаясь с кустами вереска и вороники. В воздухе стоит особенный сухой запах горячего песка, желтых игл и ягеля, свойственный сосновому лесу. Мертво как-то. Даже ярко-голубое небо, выступающее между неподвижными зелеными ветвями, придает только какой-то холодный блеск этой типичной северной местности.

Безостановочно идет наш путь, все дальше и дальше — к Даниловскому скиту. Что представляет из себя этот уголок Севера — целый особенный мир? Что осталось еще от этого прославленного места? Что делают люди, которым было оказано так много несправедливостей? И жутко как-то приехать внезапно в это место полного разорения.

А песчаная дорога вьется все тем же молчаливым, мертвым лесом, и с каждым часом приближаемся мы к заветной цели. Вот уже садится солнце; яркие лучи его бросают красный отблеск на стволы сосен, на белый ягель — вот уже и потух закат.

Вечереет — мы въезжаем в деревню Тихвин-Бор.

Какая тишина в станционном доме. В комнате для приезжих, образцовой чистоты, стоит большое кожаное кресло; пахнет ладаном. Рядом, в небольшой комнатке, устроена молельня. В вечерней темноте трудно рассмотреть что-нибудь — только мерцает лампадка перед образами. Раскольничий мир уже начался.

Никто из хозяев не показывается; только молодая баба выходит на крыльцо с ребенком, которому почему-то не спится. Перед избой суетятся и спешат ямщики.

Четверть часа спустя мы мчимся дальше. Встает с земли белый туман; медленно выползает он из-за кустов, точно караулит тут кого-то. Он окутывает своей сырой пеленой наших лошадей и повозку. В

стороне над его белой, слегка передвигающейся стеной, высоко поднимаются купола Тихвино-Борской часовни. Она уже давно закрыта. Тут на виду у раскольников она служит постоянным напоминанием оказанной им несправедливости. Пройдут года — подгниет крепкий сруб — разрушится и этот свидетель прошлого.

Тяжело видеть это запустение; как-то неловко становится перед всем этим миром — точно сами мы принимали участие в разрушении чужой святыни. Скорее мимо.

Дремлется; но проснешься от какого-нибудь толчка, и снова целыми рядами мелькают в тумане сосны. Вот вдруг расступается лес — купола церкви вырезываются на беловатом фоне ночного неба — Данилово.

* * *

Дом Исаака Федоровича Копейкина, у которого мы остановились, выделялся среди других домов Данилова: своей постройкою и ярко-голубой краской, так же как и вывеской на дверях, изображавшей сахарную голову и еще какие-то припасы, он напоминал вполне городской дом.

Горницы, предоставленные нам, были тщательно, не по-деревенски, убраны; занавеси украшали окна с белыми крашеными подоконниками, кожаные диваны стояли у стен. А в одном углу на части стены, очевидно, нарочно не заклеенной обоями, было странное украшение: бог знает каким живописцем тут была изображена ваза с цветами (хозяева называли эту вазу самоваром) и какой-то герб на зеленом поле, над которым красовались физиономии луны и солнца в надетом набок цилиндре.

Кругом копейкинского дома раскинулись другие постройки Данилова.

Грустное, тяжелое впечатление производит это разоренное место.

Сохранились еще следы вала, шедшего вместе с деревянной стеной вокруг всего поселения, сохра-

нились еще бугры, свидетельствующие о существовавших здесь когда-то многочисленных постройках; и тут, и там валяются еще бревна, отдельные камни.

По плану древнего Данилова видно, как застроено было все это место, разделенное между мужским и женским монастырями. Службы, различные мастерские, трапезные, странноприимная, школа, или «грамотная», больница — все, благоустройством чего славятся теперь Соловки,— все это было и здесь, в этом прежнем рассаднике просвещения. Как Данилово, так и Соловки — произведение местной народной жизни, со всеми ее типичными особенностями,— вот почему этот центр имел такое же могущественное значение на Севере, какое имеет Соловецкий монастырь. Большая Даниловская часовня сохранилась еще, но давно обращена в православную церковь. Один придел освящен, другой еще нет. Сохранилось еще помещение староверческой часовни. Семь полок идут вокруг стен; прежде они все были заставлены образами, теперь много пустых мест. С каждым годом уменьшается богатство часовни. Куда оно уходит, неизвестно. Так, например, об огромных подсвечниках перед образами, которые видели здесь еще несколько лет тому назад, теперь нет и помину. Остался только массивный старинный фонарь, употребляемый при крестных ходах, со слюдой вместо стекол.

И рядом с этой полуразграбленной часовней, соответствуя ей вполне, стоит, во время гонения лишенная верхушки, огромная Даниловская колокольня. Перекосившись, еле держится на ней циферблат старинных часов со славянскими цифрами, которые, как говорят, били каждые пять минут.

Колокольня эта и часовня принадлежали мужскому монастырю, который, судя по тому же старинному плану, стоял отдельно от женского монастыря. И тут, в женском монастыре, были часовня и колокольня, были и свои службы, своя больница, одним словом, целое, прочное заведение, но все это срыто до основания.

Тут в Данилове был совсем особенный мир нескольких сот людей, деятельных, трудолюбивых, удачно боровшихся с тяжелыми условиями, налагаемыми суровой природой, и вместе с тем ищущих спокойствия скитской жизни, убежденных в правильности избранного ими пути. Твердая вера и жизнь, ограниченная монастырским уставом, позволявшим им, однако, прилагать к делу практический смысл русского человека,— вот на чем зиждилось Данилово, так же как зиждется и Соловецкий монастырь. Вот какие данные приводит г-н Майнов о прежнем благосостоянии Данилова: «у монастыря было 100 лошадей, 150 коров и 60 телят... ему принадлежало 27 скитов и 12 пашенных дворов, или приказов; на Онежском озере Данилово имеет несколько пристаней, из которых главною считается Пигматка, куда ежегодно привозят до 107 кулей одного хлеба; Данилову принадлежали 2 лесопильных завода, несколько мельниц; 6 судов морских Даниловских ходили по Белому морю и доставляли в Сороку добытки промышленников; в Архангельском монастырь имел саловарню и салотопню, наконец в самом Петербурге — подворье»*.

Весь этот мир погиб внезапно. Теперь Данилово — груда развалин, разоренное, пустынное место.

Пустуют некогда обрабатываемые земли, гниют, разрушаются никогда не подновляемые постройки; уменьшается с каждым годом число оставшихся скитников и скитниц. Прежде в Данилове (по Уложению братьев Денисовых), кроме большака, над скитскими начальствовали следующие лица: келарь, казначей, нарядник и городничий. На обязанности келаря лежали заботы о «хлебенной», «поваренной», «трапезной» и над больницей. В ведении казначея находилось все имущество Даниловского скита; он же наблюдал за «кожевенной», за «портной» и «чеботной швальней» и «медницей». Нарядчику было поручено попечение о земледельстве, плотничестве, ковачестве, рыболовстве, возачестве.

* Майнов. Поездка в Обенеж и Корелу. С. 211, 212.

Мельница, скотные дворы и всякая домовая работа и работные люди состояли также в его ведении. Городничий должен был иметь надзор над сторожами, над «гостиными», наблюдать над странными приходящими и отходящими, надсматривать за братией при часовенных дверях, во время книжного чтения, и в кельях и в трапезе*.

Так было, когда в Данилове кипела жизнь. Теперь нет не только этих второстепенных начальствующих лиц — нет даже и большака. Последний большак умер недавно — он не был заменен никем. Осталась одна большуха с семью скитницами — последние хранительницы прежней святыни — скоро не станет и их.

И на место этого старого мира водворился новый. Лучше ли оттого?

Пустынна стоит православная церковь, редко кем посещаемая. Даниловская школа насчитывает всего 16 учеников (в том числе и девочек), приходящих из Данилова и окрестных деревень. И это в том месте, где были всегда переполнены две школы, мужская и женская, и где было возможно в женском скиту правильно организовать переписку священных книг, для чего имелось даже особенное здание, так называемая «псалтырня».

* * *

Большуха Агафья Гавриловна, должно быть, последняя из даниловок, состоящая в этом звании, встретила нас на дворике перед своим домом. Она была, как повелевает Уложение Денисовых, в черном сарафане с белыми рукавами и в черном платке.

«Милости просим, гости дорогие»,— проговорила она, низко кланяясь. — Черные умные глаза быстро и беспокойно оглядели нас: вечный страх перед наездами начальства приучил жителей Данилова к осторожности в обращении с людьми. Большуха за-

---

* Барсов Е. Уложение братьев Денисовых. Памятная книжка Олонецкой губернии. 1868—1869 гг.

нимает бывший дом большака. Это маленькая изба о нескольких комнатах, чистых, уютных, хотя и небогато обставленных. Много старых воспоминаний заключается в этой так называемой «большаковой избе»; много уцелевших дорогих предметов сохраняет с благоговением большуха — для кого и на сколько времени? Живет она тут с одной из оставшихся старух, и такой мирный и спокойный характер носит все ее жилище, полное икон, старинных портретов, о такой мирной жизни говорят эти два старых кожаных кресла, только что оставленная работа и пучки каких-то трав, развешанные по стенам, что невольно кажется, будто тут мирно доживают свой век две старухи, безмятежно вспоминая прошедшие дни.

Но не то говорят глаза большухи, живые и умные, все лицо ее, хорошо сохранившееся, энергичное, сметливое и спокойное. Нет, она-то не примирилась со сложившеюся жизнью — в ней еще много сил и желания борьбы. И много сделала бы она, если бы ей было дано широкое поле деятельности. Теперь она должна довольствоваться мелкою борьбою с местным начальством, охраняя себя и оставшихся стариц от возможных еще притеснений. Видно, она привыкла к наездам разных лиц, держит себя будто уверенно и старается скрывать невольное беспокойство. Когда она слушает кого-нибудь, она слегка прищуривает глаза, будто старается уловить какой-то внутренний смысл в речи собеседника — потом уже проясняется все ее лицо, и она отвечает на вопрос. Получается впечатление не совсем симпатичного, но в высшей степени умного лица.

Агафья Гавриловна показала нам старинный план Даниловского скита и портреты прежних настоятелей. Она живо и толково отвечала на наши расспросы, между тем как крупные слезы блестели в ее глазах. Она хотела скрыть их и опускала глаза; несколько раз выходила в другую комнату, и там, я видела, быстро прижимала платок к лицу и, успокоившись, снова являлась к нам.

Мы пошли в строение, отошедшее под молельню и занимаемое остальными старухами. Некоторые из них настолько стары, что уже заговариваются и едва-едва ходят. Кажется, что тут богадельня. Одна только большуха еще сильна и крепка — и на ней одной лежат все заботы об этих больных и расслабленных старицах.

* * *

Лодка давно уже ждет нас у плавучего моста, перекинутого через Выг. Кладь уже уложена на ее дно; сам старик Копейкин сидит у руля.

Перед самым отъездом к мосту подходит молодой парень лет 16-ти. Он просит довезти его до следующей деревни. Гребцы знают этого парня: он надорвался во время работы и совсем больной спешит вернуться в родную деревню. Старик Копейкин качает головой и озабоченно осматривает лодку, которая и без того уже глубоко сидит в воде, но соглашается: нельзя же больного парня оставить тут.

В последний раз мы прощаемся с большухой и слышим ее напутствования. Гребцы отталкиваются от моста.

Широка и спокойна голубая лента Выга. В зеркальной поверхности отражается необыкновенно рельефно прибрежная трава, цветистый берег; тут и там две или три мирно плавающие утки едва-едва рябят воду. Стоит ясный теплый день. Сильно, но молча гребут гребцы. Копейкин склонил к рулю свою седую голову — кажется, что он думает глубокую думу; больной парень неподвижно лежит на дне лодки, прислонясь к борту ее бледной исхудалой щекой. Как-то молчится в такую тишину.

Сенокос только что начался; то и дело попадаются на берегах целые группы работающих. В северных губерниях косят так называемыми горбушами, то есть короткими изогнутыми косами, похожими на большие серпы. Горбушем бьют влево и вправо, так что скошенная трава летит в разные стороны. При этом работающий должен, конечно, сильно

нагибаться. Нас, привыкших к красивому виду правильно, рядами идущих косарей, как будто легко и свободно делающих свое дело, невольно поражает этот способ косьбы.

Снова узкий плавучий мост, переброшенный через реку, преграждает нам путь.

В стороне, направо, виднеется деревня Березово. Больного парня высаживают. Он медленно направляется к деревне, слабо придерживаясь за перила моста.

«Дойти бы уж ему поскорей, жалко парня»,— говорил кто-то из гребцов, смотря ему вслед.

Другие между тем заняты лодкой. Ее волоком тащат через мост и бережно опускают в воду с другой стороны его.

Теперь уже густой лес покрывает берега; вода от него кажется светло-зеленой. Вот Выг разделяется, обходя с обеих сторон большой, покрытый лесом остров. Тут начинаются пороги Выга. Ехать дальше в лодке нельзя. Надо пешком обойти пороги, которые тянутся на несколько верст. Гребцы оставляют лодку вместе с веслами у берега. В этих местах нечего бояться, что кто-нибудь попользуется чужим добром. Сами они навьючивают на себя наши вещи, и длинной вереницей направляемся мы через лес.

Как хорош этот густой бор с такой сочной растительностью у могучих корней. Притом яркий солнечный свет, сквозя через всю эту зелень, придает ей особенный мягкий золотистый цвет. Тихо все кругом; только врывается в эту тишину незванно-непрошенно шум Выгских порогов. Но вот замолкает и он; мы отдаляемся от него все больше и больше.

Пройдя версты две, мы входим в деревню Шелтопорог.

Шелтопорог тоже раскольничье селение — 2 дома и вконец разрушенная часовня. Такое же тяжелое впечатление пустынности и мертвенности производит и эта деревня.

Странный был тот дом в Шелтопороге, в котором мы остановились. Масса маленьких комнат,

расположенных в разных направлениях в верхнем и нижнем этажах, невольно заставляла думать, что во время гонений этот дом мог служить безопасным убежищем для скрывающихся. Большинство этих комнат в данную минуту стояло пустыми. Осматривая дом, я совершенно нечаянно попала в так называемую «келью» хозяина, служащую местом для чтения и молитвы. То была длинная узкая горница, передний угол которой был весь заставлен старинными иконами. На столе лежали старинные церковные книги; на стенах висело несколько портретов; в углу стояло кожаное кресло.

«А, вот где ты?» — немного удивилась хозяйка, зачем-то вошедшая сюда.

«Чей это портрет?» — спросила я, указывая на большой масляными красками портрет, висевший на стене.

«Это «мой» и есть — похож, когда молод был. Мой брат писал; он в Питере в академии учился. Да Бог их знает там — спился с кругу совсем — бросил и писать... теперь в Климовском монастыре...» Хозяйка передернула плечами и значительно сжала губы.

«Что ты смотришь на шкап? — продолжала она,— баско, что ли, расписано?» Меня, действительно, поразила живопись, украшавшая лицевую сторону шкапа. На темно-синем фоне красиво переплетались целой сеткой ярко-алые розы; белые голуби сидели на ветках. Рисунок был исполнен легко и красиво.

«Это мать моя писала. Она так сама научилась — и хорошо писала. Листки какие расписывала. Да вот у меня ее птица Сирик есть, только не знаю где. Коли найдется, подарю тебе».

В одной из боковуш стоял пыльный старый ящик. Он был полон старинных книг, писаных листков, старых переплетов — все это лежало тут пропыленное, без всякого порядку. Мы начали с хозяйкой перерывать ящик, но обещанная картина не находилась.

«А вот тебе венчик — тоже матери моей»,— хозяйке нечаянно попался под руку старинный похорон-

ный венчик. «На тебе,— она надела мне его на лоб и весело рассмеялась.— Все будем так, глянь-кось, какая красавица — ох ты господи»...

Пора было пускаться в дальнейший путь. Багаж наш уложили на двухколесную, примитивного устройства телегу — мы сами двинулись за нею пешком.

Солнце уже садилось и сквозило сквозь густую сетку леса. Выг то далеко оставался в стороне, то снова приближался к нам с тихим журчанием или с грозным ропотом своих порогов. Дорога шла неравномерно: то широкой песчаной лентой среди леса, то узкой тропинкой вдоль самого берега Выга; то приходилось идти по топкому, только что скошенному лугу, то перепрыгивать с камня на камень.

Попадались на пути и селения; большею частью они состояли из двух-трех дворов — или даже из одного. Это все тот же Шелтопорог, раскинувшийся на 10 верст. На Севере не диво встретить отдельное название для местожительства двух или одного человека. Тут нет и помину о таких деревнях (в 100 и 200 дворов), какие зачастую встречаются в нашей Московской губернии.

У одинокой избушки, занимаемой стариком-охотником, кончился, наконец, наш путь. Скоро справили нам лодку — быстро и плавно полетела она по широкой глади Выга.

Закат еще не потух. Яркая красная полоса на западе виднелась сквозь белую пелену тумана, поднимавшегося с краев Выга. Все больше и больше застилал он поверхность реки. Золотистые тучки поднялись над лесом и остановились на бледно-голубом небе. Тихо все...

Когда мы подъехали к станции, в деревне Тайгинце,— было уже за полночь. Все спало; только собаки встретили нас громким лаем.

В станционной комнате на полу под парусинным пологом спал сам хозяин с двумя детьми.

«Сиротки,— сказал он, унося спящих детей на руках.— Мать вот недавно померла. Не с кем им и быть. На мне все осталось»...

Все еще тонуло в полумраке светлой северной ночи, когда, проехав 15 верст по Выгу от Тайгинцев, мы снова причалили к берегу, чтобы в последний раз обойти порог Выга. Тут начинается так называемая тайбола. Тайбола на северном наречии значит пространство между двумя водными путями, чаще всего прерываемое, если путь идет по одной и той же реке, ее порогами. Еще недавно по этой тайболе на Выге, тянущейся на 3 версты, лодку тащили волоком за собою. Теперь устранено это неудобство. Гребцы оставляют свою лодку на одном конце тайболы, а на другом находят уже другую, совсем готовую.

По топкому болоту положены узкие мостки; но они уже давно перегнили, поддаются под ногами, так что то и дело соскальзываешь с них и топнешь в мокрой мшистой почве. Приходится невольно удивляться силе и ловкости наших гребцов, которые, обремененные тяжелым багажом, тем не менее бодро и твердо идут по этим скользким бревнам, точно по ровной дороге.

Кругом, в густом березовом лесу, стоит та особенная тишина, которая бывает только утром. Лишь одни комары густой сеткой кружатся в воздухе и буквально не дают нам прохода.

Но вот ярко блеснул в стороне первый луч солнца, и вдруг все ожило, все затрепетало; казалось, только того и ждала природа, чтобы проснуться от ночного сна. Сначала зажглись золотистым огнем верхушки деревьев, но с каждым мгновением лес освещался все больше и больше; все выше и выше поднималось солнце. Белая ночь бежала с неба, и ярко выступала синева между позлащенными верхушками берез.

Тайбола кончилась. Выг, спокойный, широкий, величавый, лежал перед нами, наполовину еще окутанный белым туманом. Но лучи солнца станови-

лись все ярче и горячее, и туман быстро рассеивался от них.

Последние две версты в лодке до Петровского Яма — и навсегда придется распроститься с Выгом. От Петровского Яма вплоть до Сумского посада дорога идет почтовым трактом.

По преданию, в 1702 г., пробираясь с Белого моря на берега Балтийского, Петр I с войсками, утомленными трудным походом, отдыхал на берегу Выга в Петровском Яме. В память этого события в 1882 г. тут была выстроена церковь. Она приближается по своей архитектуре к прочим местным деревянным церквам. Многочисленные купола врезываются в небо красивыми чешуйчатыми верхушками; широкая открытая галерея, идущая вдоль ее основания, придает всей постройке, хотя и приземистый, но оригинальный вид.

* * *

«Небось довезет вас паренек — такие ли еще у нас ездят»,— уверял нас содержатель почтовой станции в Петровском Яме, подсаживая к нам на облучок мальчика, которому на вид можно было дать лет 7—8 — не более.

«Алешка, смотри, вези ж как следует»,— проговорил он, подбирая вожжи и вручая их маленькому ямщику.

Алешка, облеченный в какой-то длинный и широкий белый армяк, ногами не доставая до передка и, как казалось, вовсе не уверенный в своем деле, тем не менее приосанился и ударил по лошадям.

Но едва мы успели проехать с версту, как убедились вполне в несостоятельности нашего ямщика: лошади нимало не слушались его. Кажется, убедился в этом и сам Алешка; по крайней мере он счел за лучшее передать вожжи нам.

Внезапно, после долгого пути лесом, бросается в глаза ослепительно яркая, волнующаяся крупной зыбью синяя поверхность Выгозера, перерезывающего дорогу. Для переправы на пароме выбрали

место сравнительно узкое; по его обеим сторонам широко разлилось озеро, уходя в голубую даль своими голубыми волнами. Конца его не видать. Тут только один из многочисленных его заливов, а на запад тянется водная поверхность на несколько сот квадратных верст.

Сколько насмешек и обидных попреков пришлось выслушать бедному Алешке на следующей станции.

«Не маленький он — такие ли еще помогают,— говорили кругом,— вот наш парень поедет, Гаранька — одних лет с ним будет».

Новый ямщик Герасим, мальчик лет 9-ти, с необыкновенно важным видом подошел в это время, держа сбрую в руках, и окинул несчастного Алешку уничтожающим взглядом, от которого тот низко-низко опустил голову.

...Безостановочно мчимся мы все дальше и дальше — теперь уже к Белому морю. Быстро меняются по обеим сторонам виды: то молча густой стеной стоит точно заснувший в полуденном зное сосновый лес; то болото стелется возле дороги; там выглянет синим заливом озеро. Местность холмистая. Едва успеваешь спуститься с одной горы, как тотчас приходится подниматься на другую. Иногда эти пригорки до того круты, что невольно наклоняешься вперед. В Олонецкой губернии, как нам приходилось замечать, существует особенная манера ездить по этим горам. Спускаясь с горы, ямщик обыкновенно изо всех сил осаживает лошадей, пока, наконец, лошади после долгих усилий не вырвутся. Удержать их тогда нет никакой возможности; они летят, как стрела, под гору и благодаря этому напряжению одним духом выносят телегу на противоположную гору. Ямщик уже не правит ими: они знают дорогу и никогда не свернут в сторону. И страшна, и люба эта бешеная езда, когда приходится вполне полагаться на лошадей да крепче держаться, чтобы не упасть...

Богатых деревень уже не встречаешь на пути. Их заменяют бедные, с покосившимися избенками, деревушки. Вот уже и столб в стороне, отмечающий

начало Архангельской губернии. Верст тридцать отделяют нас от Сумского посада.

Молодцевато сидит на облучке ямщик с последней станции. Несмотря на то, что то и дело встречаются крутые спуски, он пускает лошадей вскачь. Развевается от быстрой езды его рубаха; развевается и кукель, надетый от комаров.

Теплый день уступает место сырому вечеру. Вот потянулось по обеим сторонам дороги топкое торфяное болото. Бедный, угрюмый пейзаж. Тут и там тощие деревца. Почва, взрытая кочками, перерезана точно нитями небольшими канавками, в которых закат отражается золотыми, розовыми и голубыми тонами.

Встает вдали белый туман; запад бледнеет. Молочно-белая ночь захватывает все больший и больший горизонт.

«А вот оно и море,— оборачивается к нам ямщик,— вона за лесом, видишь?»

За темным сосновым лесом на самом горизонте тянется узкая полоса того особенного голубого цвета, который присущ только морю...

Скорее, скорее к Белому студеному морю...

* * *

...Часа два спустя близ подворья Соловецкого монастыря, в Сумском посаде, стоял уже готовый ка́рбас. Отец Александр, соловецкий монах-мореход, в высоких сапогах, в коротком белом балахоне и скуфье, уже рассадил своих гребцов по местам и сам сидел у руля.

«Мы и самовар захватили с собою, и воды — в случае если придется долго парохода дожидаться,— мы и попьем чайку в море»,— сказал он.

Стоянка пароходов находится в семи верстах от Сумского посада. Так как никто не знал наверное, в какое время придет пароход «Кемь», который должен был доставить нас в Соловецкий монастырь, отец Александр и предложил нам ехать раньше в море, где и можно было бы подождать прихода «Кеми».

Белое море, на этот раз, вполне оправдывало свое название. Молочно-белого цвета, широко и спокойно залегло оно на далекое расстояние. Мы не заметили, как выехали в море из широкого устья реки Сумы (на которой расположен Сумской посад) — до того тихо было море.

«А вон «Кемь» уже идет,— проговорил кто-то из гребцов.— И ждать не придется».

Действительно, на ярко-красной полосе заката, выделяющейся между белым небом и белой водой,— ясно вырезывался силуэт парохода...

VI

ПО ЛАПЛАНДСКИМ ЛЕСАМ И ОЗЕРАМ

Ярко блещущие от палящих лучей солнца мутные волны Северной Двины сдали наш пароход в широкое, далекое море. Чем и как кончится это плавание? не будет ли качки? не захватит ли нас где-нибудь внезапно налетевший шторм? — вот вопросы, которые невольно приходят в голову при морском путешествии. Но пока море не обещает ничего дурного: штиль полный. Бойко бежит наш «Чижов» по бирюзовому зеркалу моря, оставляя за собой длинный и пенистый жемчужный след. Как-то странно действует на душу этот широкий простор. Хорошо, и легко, и как-то жутко в одно и то же время от этой необозримой пустынной дали...

На следующий день море также спокойно. Правда, ветер окреп и взбороздил зеркальную гладь его, но ярко-синие волны, пенясь вокруг парохода, не производят еще качки — а больше ничего и не требуешь. Вот по обеим сторонам потянулись скалистые, пустынные острова; скоро они переходят в сплошную каменную стену. Кое-где украшает темные, бурые скалы скудная северная растительность. Пароход останавливается и дает резкий продолжительный свисток. И вот, будто отвечая на этот зов, спешит к нему, ныряя по волнам, масса ка́рбасов (лодок), больших и маленьких. Мы в Кемском заливе.

Самого города не видать: он расположен в 8 верстах от места стоянки пароходов, на берегу порожистой реки Кеми. Благодаря этому далекому рас-

стоянию те, которые имеют какое-нибудь дело на пароходе по отправке или получению грузов, ожидают пароход в ка́рбасах в самом заливе. Иногда, если что-нибудь задержит пароход, ждать приходится долго — двое, трое суток — ждать на пустынном скалистом берегу или в лодке.

У бортов парохода шум и толкотня. Спускают шлюпку, которая должна отвезти в Кемь почту. А у трапов теснятся ка́рбасы; убирают весла, притягивают одну лодку к другой. На палубу входят гребцы — все женщины. Это кемские «жонки» и девки — поморки, превосходящие, пожалуй, в умении справляться с ка́рбасами самих мужчин. Красотой они не отличаются. Нет и мягкости, свойственной олонецким женщинам. Голоса резкие, манеры грубые и беззастенчивые; зато о какой силе, о каком здоровье говорят их крепкие мускулистые фигуры. Одеты они по-дорожному: платья высоко подоткнуты, шерстяные вязаные рукавицы заткнуты за пояс; на ногах бахилы — высокие сапоги с мягкой подошвой, не пропускающей влаги. Смуглые, но здоровые от морского воздуха щеки покрыты у женщин платками; девушки носят толстые разноцветные повязки на светлых жестких волосах. Тут все бедные «жонки»; богатые не пойдут, конечно, на это дело. За доставку груза в Кемь или из города им дают 40 коп. Стоит ли за эту цену ехать 16 верст, рискуя прождать пароход в холоде и сырости и терять на это несколько суток.

Уже больше двух часов визжит с отвратительным лязгом наматывающаяся на кабестан[48] железная цепь, посредством которой достают груз из трюма. Многие уже получили свой груз и уехали в город. Только еще два, три ка́рбаса медленно покачиваются около парохода. Издалека доносится песнь отъезжающих жонок.

Мало-помалу все стихает на пароходе; стихает и море, готовясь к ночному покою. Погружается в полусумрак правый берег, скрывая за собой заходящее солнце, и ярко алеют противоположные скалы и

кирпичные стены какого-то завода на берегу. Мягко светится закат розовато-желтыми тонами. Розовые облачка медленно плывут по бледно-голубому небу; все яснее и яснее вырисовывается бледный серп луны, по мере того как тухнет закат и темнеют берега.

Начинается отлив; он настолько силен, что повертывает пароход к выходу из залива. На море ложится сумрак. Издали снова доносится песнь... Какая тишь!

* * *

Высокие, крутые и скалистые берега, поросшие густым еловым лесом, оригинально и красиво разделяют синеву моря от ясной лазури неба. Порой, как будто издалека, доносится шум порогов быстрой голубой речки, спешащей в море. В глубине спокойного залива теснится селение Кереть. Типичное поморское селение: впереди, на самом берегу, выстроились амбары; шкуна, как будто отдыхая, тихо покачивается близ них; на каменистом берегу масса ка́рбасов. На шумливой, порожистой речке Керети поставлен семужий забор[49].

Вот с сенокоса приплыли две женщины; они убирают ка́рбас, ступая толстыми бахилами по топкому берегу. Двое-трое загорелых здоровых ребятишек следуют за ними, помогая им тащить блестящие на солнце горбуши.

Высокие каменные горы, покрытые лесом и ягелем, служат фоном для всего селения. Красиво толпятся его строения вокруг белой, шитой тесом, церкви. Тут же и кладбище. Своеобразный характер носит и оно. Могилы часто снабжены кивотками разных фасонов, с небольшим окошечком, обращенным на запад. Иногда увидишь на могиле тщательно положенную лопату, оставленную тут после похорон. Кресты часто заменены резными столбиками с небольшим образком. Пустынно и холодно это кладбище, не украшенное ни одним деревцом, как вообще холоден даже в своей красоте весь этот блестящий пейзаж.

Среди всех керетских домов выделяется дом местного богача-факториста[50] С., большой и красивый, с крытым балконом, выходящим в сад. Внутри он только недавно поновлен, так что все еще блестит свежими красками. Фирма С. давно уже существует на Севере, и в этом доме жили и прежние представители ее. Теперь сделаны значительные улучшения — молодое поколение более взыскательно и требует большего комфорта. Стены комнат украшены не лубочными картинами, а дешевыми олеографиями в золоченых рамах; по столам разложено несколько альбомов со сценами из прошлого царствования и коронации, картинами, взятыми из войны 1876 г., и видами Соловецкого монастыря; есть и музыкальные инструменты: аристон[51], гармония, орган и пианино.

Все производит несколько неприятное впечатление слишком нового, слишком тщательно уставленного и дешевого, особенно потолки, раскрашенные по шаблону, и клеенка на полу, сделанная под паркет. Зато все скрашивается гостеприимством хозяев.

На пароход мы вернулись в двенадцатом часу ночи.

Молчаливо стояла Кереть в глубине своего тихого, маленького залива, окруженная высокими горами. Как-то особенно резко прозвучал в тишине свисток, и пароход медленно повернул.

Выход из Керетского залива заставлен островами. Красивые, покрытые лесом острова — гористые, окруженные, точно стеной, огромными серыми скалами. Плещут об эти скалы морские волны — теперь тихо и ласково, чуть-чуть пенясь. Но вот, точно кто-то зажег внезапно верхушки елей на островах; темные хвои засветились вдруг ярким огнем; вот вдруг в глаза блеснули золотистые лучи. Солнце начинало восходить.

Пароход проходит узким проливом между островами и спешит в открытое море.

* * *

Далеко-далеко вдали теряется ярко-синее море. И куда ни посмотришь, всюду мчатся за нами белые гребни волн. Они то исчезают, расплываясь по широкому хребту волны, то вдруг появляются снова. Их целые мириады; и там, на горизонте, где уже контуры теряют свою ясность, то и дело видишь этих белых «лебедей» (так называют на Севере белые гребни волн), выскакивающих из воды.

Часто встречаются на пути острова, все такие же гористые, покрытые лесом. Вдали синеют горы — это дальние берега. Мы в Кандалакшском заливе. Но как тихо, как пустынно все вокруг, и эти красивые острова, и море, и вдали эти горы — жизни нет, и недостаток ее чувствуется и тягостно ложится на душу. Началась страна вечного сна и молчания...

По темноватым зеленым волнам пароходская шлюпка несет нас к небольшой группе строений, раскинутых на возвышенном берегу,— это Кандалакша. Темные леса за нею, покрывающие собой высокие горы,— туда пойдет наш путь. Путь длинный, сопряженный со многими неудобствами. 300 верст отделяют Кандалакшу от Колы, и из них 200 — надо проехать в лодке, 100 — пройти пешком. Вот путь по пустынным болотам и тундрам* Лапландии. Что-то сулит нам эта мертвенная страна?..

* * *

В Кандалакше мы застали веселую компанию. Тут на Севере есть обычай не пропускать ни одного парохода без так называемых «привальных» и «отвальных», т. е. без пиршества. Но в Кандалакше, кажется, не дождались прихода нашего «Чижова» и до него совершили часть «привальных». Прибытие пяти новых лиц и снаряжение их в далекий путь, кажется, донельзя заняло всю эту компанию. По крайней мере шуму по поводу нашего отбытия из Кандалак-

* Тундрой в Лапландии называют сухое место, низменное или возвышенное, поросшее ягелем.

ши — мы решились тотчас же отправиться в путь — было много. Нас совсем оглушили. «Сейчас, сейчас, господа, все будет устроено,— кричал с одной стороны становой[52], несколько неверными шагами расхаживая вокруг нас в расстегнутой шведской куртке и помятой фуражке.— Сколько у вас багажа? Вам надо четырех нощиков. Пожалуйста, господа, посидите тут — я распоряжусь».

«Хлеб у вас есть? Непременно возьмите,— советовал с другой стороны толстый и красный волостной писарь, засунув руки в карманы.— Марья, тащи хлеба побольше. Мало ли что может случиться в дороге».

«Как же вы пойдете, в такой обуви? Это невозможно, — слышалось снова.— Вам непременно надо купить здешнюю обувь, знаете, бахилы, нюреньки. Все это мы сейчас достанем, иначе вы не дойдете. Вас, господа, ожидают болота и тундры. Путь далекий».

«Э, да неправда,— повсюду теперь мостки положены хорошие, ка́рбасы налажены хорошо,— возражал возвратившийся становой.— Да где же нощики? Все еще не пришли? Пойди, брат, распорядись»,— скомандовал он писарю.

Наконец явились и нощики. На этом, однако, не прекратилась заботливость расшумевшихся кандалакшских обывателей. Стали по десяти раз перекладывать наш багаж; каждый давал свой совет. Тут лучше было привязать вот этот узелок. Сюда лучше было положить хлеб и т. д.

Только через полтора часа нам удалось вырваться из Кандалакши.

Река Нива впадает в самую Кандалакшскую губу; но она настолько изобилует порогами, что приходится пройти пешком 12 верст до того места, где по ней можно проехать в ка́рбасе.

Не задумываясь, двинулись мы в путь, оставив за собою нощиков с нашим багажом. Скрылась из виду Кандалакша, не стало видно и высокой (имеющей до 1 тыс. ф.[53] вышины) горы, так называемой Крестовой, с которой, как говорят, открывается прекрасный вид на всю губу[54]. В стороне шумела и ра-

лась о пороги синяя Нива. Мы подошли к семужьему забору, поставленному в реку. Твердые тонкие жерди густым рядом воткнуты в дно реки. Семга, которая уходит из моря в порожистые речки, чтобы метать икру, возвращаясь в море, не может пройти иначе, как через отверстие, оставленное в середине забора, и тут непременно попадает в сеть, закрывающую это отверстие. Два сторожа сидят у забора и от времени до времени осматривают сеть. Один из них при нас кинулся в реку и, ныряя под светлыми струями воды, оглядел сеть и вытащил оттуда большую семгу. Страшно было смотреть на него: река бурлила, пенилась под ним, и волны, разбиваясь о большие камни на дне, били и его. Но он ловко справлялся с ними, привычными руками рассекая их, избегая камней на дне. Тем не менее мы все как-то невольно обрадовались, когда он, наконец, выскочил на берег. К насквозь промокшей одежде он прижимал серебристую, блестящую и сильно бьющуюся у него в руках семгу.

Дорога между тем идет темным лесом. Местами ягель покрывает почву; местами густо разрослась мелким жестким кустарником вороника; встречается и пахучий розмарин. Справа, между деревьями, виден желтый крутой обрыв противоположного берега Нивы, слышен шум ее порогов. Бьется она там, между двумя крутыми берегами, по каменистому дну. И как красивы эти северные реки своею синевой, превосходящие, пожалуй, ясную синеву глядящегося в них неба.

Мы все дальше и дальше углубляемся в лес по узкой, порою каменистой тропинке. Порогов уже давно не стало слышно — мы все больше и больше удаляемся от них. Солнце садится и прямо бьет в глаза, ослепляя нас. Комары и мошки, целой массой кружась вокруг нас, кусают нестерпимо, несмотря на сетки, накинутые на головы, и на огромные холщовые рукавицы на руках.

Лес мало-помалу начинает темнеть; делается сыро — а все еще не слыхать порогов, которые были

бы теперь верным признаком, что скоро река и, значит, конец пешеходному путешествию.

Но вот тропинка бежит под гору; почва становится болотистой. Мы напрягаем слух, не услышим ли шума реки — вот уже слышится тихое журчание — тропинка все круче и круче — гладким зеркалом лежит перед нами тихий плес реки. Справа высокие горы с темными елями; за ними выдвигается гладкая вершина еще более высокой горы, покрытой ягелем. Слышится тихий ропот порогов из-за лесу, куда убежала река.

Мы зажигаем костер; пламя вспыхивает под сучьями, и скоро уже ярко пылают они сами. Мокрые свежие ветки трещат и дымят и хоть немного спасают от комаров. Высоко вверх целым дождем звезд взлетают искры.

Однако нощики что-то долго не идут. Мы уже раньше заметили, что они чересчур часто прибегали к взятому ими на дорогу штофу. У них между тем и часть нашей одежды, и припасы. После четырехчасовой ходьбы ощущается сильный аппетит. Да и холодная сырая ночь дает себя чувствовать.

Проходят два томительных часа — нощики не показываются. Очевидно, нам предстоит холодная, голодная ночь. Один из наших спутников нашел старую лопарскую[55] кережку* в кустах и из нее устроил себе постель; мы вытаскиваем доски из ка́рбасов, стоящих у берега, и ложимся на них у костра. Впрочем, не спится. Слишком надоедают комары. Кроме того, и костер тухнет очень скоро; то и дело поднимаешься с досок и бежишь набирать хворосту, сухих листьев, мху. На реке легкий туман; сырость пронизывает насквозь. Мы стараемся в разговоре позабыть о наших невзгодах, в то же время прислушиваясь к малейшему шуму. Все напрасно — нощики не идут.

Нощики явились только на следующее утро. Оказалось, что один из них свалился от вина на полпути и пришлось посылать за новым нощиком в Кандалакшу, так же как и отвести его домой. Ясное,

* Лопарские сани, похожие на лодку.

солнечное утро разогнало неприятное впечатление только что проведенной ночи. Живо вскипел котелок с чаем. Утренняя свежесть лежала на всей природе, блестела в голубом небе и светлых струях реки, на лесистых горах и на мокром еще кустарнике. И свежестью, и бодростью пахнула она и на нас...

Ка́рбас, в котором нам приходилось совершать дальше наш путь, оказался весьма плохим. Только что мы успели войти в него, как он глубоко сел и до половины наполнился водою. Пришлось пустить в дело котелок и вычерпывать воду. Но и это мало помогало: вода быстро вливалась в щели. Лучи солнца, отражаясь в светлых струях реки, казалось, делались еще более жгучими. Вдали казавшаяся голубою река была у лодки светло-желтого цвета и настолько прозрачна, что было ясно видно все дно ее, покрытое огромными камнями, по которым стелились зеленые водоросли. Справа темными громадами тянулись лесистые горы.

«Какая будет тайбола теперь?» — обращаемся мы к гребцам. Вопрос о тайболе, т. е. о пути между двумя озерами или реками, который приходится совершить пешком, представляет для нас теперь огромный интерес. Идет ли тропинка горами или по болоту? На сколько верст тянется она? — вот о чем всегда заранее тщательно расспрашиваешь гребцов. А тайболы бывают разные; иногда вдруг пропадает тропинка в болоте, где под ногами чувствуешь полусгнившие остатки когда-то существовавших здесь мостков; иногда приходится перепрыгивать с камня на камень; зато в другой раз идешь по ровной, сухой лесной тропинке, и только под ногами шелестит сухой ягель. Иной раз на протяжении почти всей тайболы положены мостки крепкие, широкие, которыми справедливо гордился кандалакшский становой. И удобно и легко идти по этим мосткам, а все радуешься, когда проглянет, наконец, озеро и река и увидишь выдвинутый на берег высокий нос карбаса.

...Голубое спокойное Пинозеро отступило назад, а пенясь и ревя, будто ссорясь со своими порогами,

катилась к нему быстрая Нива. Темный лес надвинулся к ней и склонился над ее кипящими, бурными волнами. На гребнях почти что совершенно черных волн яркими пятнами выделяется вскакивающая на порогах белая пена. Порогов много; огромные камни частью поднимают из воды свои седые головы, частью прикрываются на несколько вершков прозрачною пеленой воды.

Всем вместе переправляться нельзя; карбас, сидя глубоко в воде, непременно наткнется на эти камни. Мы оставляем наших спутников и часть клади на диком каменистом берегу, и облегченный карбас поворачивается нашими гребцами кормой вперед и осторожно направляется наперерез грозной реки. Далеко относит нас быстрое течение; гребцы — черный, косматый, широкоплечий корел и хмурый, угрюмый финн — изо всех сил борются с волнами, искусно огибают пороги. Под черными, но в высшей степени прозрачными волнами видишь на дне эти обрывки скал, неподвижные, огромные. Под грозный шум реки кажется, что это какие-то зловещие чудовища, засевшие и притаившиеся тут. Но вот окончена переправа. Лежа под высокими соснами на сухом ковре желтых игл и мха, по которому мягко играют уже побледневшие лучи солнца, мы следим не без беспокойства за переправой наших спутников. Страшно смотреть со стороны на бедный карбас, которым так легко играют волны и который, несмотря на усилия гребцов, они уносят с собой вниз по течению. Наконец, карбас вытаскивается на берег гребцами; весла убираются на его дно, и мы снова продолжаем наш путь, углубляясь в середину страны.

Дикая, суровая, бедная страна, перед которою скалистая, лесная Олонецкая губерния теряет производимое ею впечатление скудности. Вечное глубокое молчание в ее лесах, молчание на мертвенных тундрах, на холодных топких болотах подавляет вас. Только шум порогов на реках порой нарушает его. Но ведь и это какой-то мертвенный шум, однообразный, в конце концов делающийся скучным, томи-

тельным. И ловишь с наслаждением внезапно раздавшийся крик какой-нибудь птицы, шелест кустарников, когда она, внезапно встревоженная приближением человека, быстро поднимается с земли, — и любуешься на длинную вереницу диких уток, мирно плавающих на озерах и реках.

А между тем тропинка, выложенная хорошими мостками, бежит все дальше и дальше по болоту. Полярные деревья, мелкий кустарник, вороника и розмарин, морошка, красные, еще не вызревшие ягоды которой красиво выглядывают из общего буровато-зеленого фона,— вот что производит эта топкая, мшистая почва. Молчат нощики, шагая вперед с нашим багажом на плечах. Молчим и мы, порядком утомленные дневным переходом. Бодрость им и нам придает, однако, сознание, что до станции (первой от Кандалакши) остается всего верст пять. Даром, что они тут считаются 700-саженными, да и то немереными, но в сравнении с пройденным, эти 5 верст кажутся ничтожным расстоянием.

И вот вдруг, за одним поворотом тропинки — не обман ли это? — послышались внезапно человеческие голоса. Оживленный, быстрый говор, веселый задушевный смех. Рядышком, на мостках сидят несколько лопарей. Первые лопари в Лапландии. Отдыхая на пути в Кандалакшу, куда они, очевидно, не очень спешат, они спокойно расположились на мостках, сбросив с плеч «ташки» (веревочный переплет, употребляемый для переноски тяжестей) со скудным багажом, опустив обутые в «нюреньки» ноги в мягкую мшистую почву. Пестрая, красивая группа. Цветные, преимущественно красные платья женщин, их красные головные уборы перемежаются с сероватыми костюмами мужчин. Тут же несколько пестро одетых детей и совершенно белый олень, которого держит на веревке молодая еще лопарка. Все мелкорослый народ. На всех лицах что-то простодушное, детское, наивное; притом страшное любопытство в глазах. Стали расспрашивать, откуда мы, куда идем. Почти все из них говорили по-русски.

Зато все замечания, касающиеся нас, сообщали они друг другу по-лопарски. Быстрые фразы на незнакомом языке, сопровождаемые оживленной жестикуляцией, веселый хохот и эти добродушные лица, светящиеся любопытством,— все это производило какое-то особенное впечатление, довольно симпатичное и располагающее в пользу этого народца.

Лопари вообще в высшей степени любопытны и болтливы; часто, слыша их непрерывную болтовню, приходит на мысль, о чем могут говорить так много эти люди. Умственная жизнь у лопарей, конечно, не развита; есть только забота о насущном пропитании. Томительно, однообразно тянется внешняя жизнь, приносящая, смотря по временам года, все те же занятия, без малейшего нарушения их обычного порядка, без всякого оживляющего развлечения. Даже для сплетен погоста, казалось бы, мало можно найти тем.

Ранней весной лопарь оставляет свой «погост»*, запирает свое зимнее жилище, «пырт»**, распускает своих оленей и, взяв с собой все нужные хозяйственные принадлежности и материал для летнего походного жилища, «куваса», передвигается вместе со всей семьей к берегам океана. Тут он занимается ловлей рыбы, преимущественно семги, в быстрых порожистых речках, впадающих в океан. Осенью перекочевывает снова, на этот раз удаляясь от берегов океана в глубь страны. Обильную жатву дает рыбный промысел на озерах и реках Лапландии. Но вот наступает холодная зима. Лопарь возвращается в погост и тут встречается снова со своими односельчанами, потому что все лето и осень он прожил один со своей семьей. Забирается он в теплый «пырт», облекается в зимнюю одежду, которую он сменит только с наступлением жарких дней, разыскивает своих оленей — и вот началась зимняя жизнь лопаря — жизнь,

---

* «Погостом» называется лопарское селение.

** «Пырт», или «тупа» — зимнее жилище лопаря. Летнее называется «кюит», или, как обыкновенно принято называть его: «вежа».

посвященная почти исключительно охоте на дичь и на пушных зверей.

И тянется эта жизнь из года в год — и медлительно, не спеша, покорно и безропотно проживает ее лопарь до тех пор, пока старость или какая-нибудь болезнь не прекратит этого простого, безобидного существования. Тогда односельчане зароют его в яме около погоста, над которой иногда только через несколько месяцев священник совершит отпевание.

И невольно думается, что эта бесцветная жизнь, не одушевленная даже борьбою с трудностями, представляемыми ею,— потому что лопарь — натура пассивная и бороться не любит и не умеет,— что эта мертвая молчаливая природа, красивая только холодным блеском своих синих рек и озер, поставленных в зеленую рамку неподвижных лесов, да высокими молчаливыми горами с голыми вершинами, должны были располагать к молчанию. И, однако, на деле оказывается совсем противоположное. Лопарь, преимущественно со своими соплеменниками, постоянно находит тему для оживленного бойкого разговора и порой так беззаботно-весело раздается его смех, что можно легко подумать, что жизнь его весела, радостна и покойна. Беззаботное, детское племя — доверчивое и добродушное, несмотря на все притеснения и обманы, которым им приходится подвергаться со стороны чиновников и поморов-купцов. Даже хитрость — не природное его качество, но развившееся под влиянием опять-таки русских соседей, у лопаря выходит так простодушно-неумела, так по-детски наивна, что невольно вызывает улыбку.

* * *

Представьте себе огромное, на 100 верст растянувшееся в длину озеро, теперь довольно спокойное, хотя седое и слегка волнующееся. Вдали, ограничивая его воды, синеют горы берега, как прозрачным серым пологом, закутанные легким туманом. Что-то величественное в этой громаде. Чувствуешь,

что заснуло или притворилось спящим это седое чудовище — и вот-вот проснется, гневно поднимется, разбушуется, а, может быть, только пошутить захочется ему, показать свою силу — а между тем гибель и разрушение принесет с собой эта шутка. И, сознавая свое бессилие перед грозной и необузданной силой стихии, как-то страшно становится за бедное, маленькое лопарское жилище, приютившееся на берегу этой холодной, страшной громады.

Бедный лопарский «пырт», или тупа, и рядом крохотная вежа и есть станция Зашеечная на берегу озера Имандры. Станции на Кольском полуострове отдаются правительством с торгов. Станция поступает во владение того из участников торга, кто за содержание ее берет меньшую сумму с казны. На правительственные торги, однако, по словам самих лопарей, не приходят туземцы, и таким образом содержание станций является еще одним удобным способом эксплуатации их для русских поморов. Получив от казны право на содержание станции, помор устраивает свой собственный торг, приглашая на него лопарей ближайших к станции погостов, и в свою очередь отдает право на содержание ее тому, кто возьмет с него наименьшую плату, намного уступающую, конечно, полученной им самим от казны. Лопарь, содержатель почтовой станции, оставляет свой погост и вместе со своей семьей переселяется на место, где считается станция и где для него построено два жилища: зимнее — «пырт», или тупа, и летнее — вежа. Без сомнения, содержание станций представляет известную выгоду для лопаря — иначе не стал бы он бросать свой погост, свои обычные перекочевывания в летние и осенние места для промыслов. Но и тут лопарь не всегда бывает гарантирован от грубого и бессовестного обмана. Случается, что проезжие чиновники, не очень церемонясь с несмелым, забитым народом, считают себя вправе не платить им. Так, горько жалуются лопари участливому проезжему на произвол чиновников, противостоять которому боится робкий народ. Да есть

ли возможность принять какие-либо меры против этого произвола в этом глухом месте, вытянувшемся за полярный круг, да еще людям безграмотным, полудиким, для которых высшей правительственной инстанцией, по крайней мере единственной доступной им, служит кольский исправник.

Грязно и уж очень невзрачно в лопарской тупе. Четырехугольный бревенчатый сруб с плоской, немного покатой крышей, почерневший и закоптелый, с грязным полом, грязными лавками и нарой, освещается двумя-тремя крохотными окошечками, никогда не открывающимися, но пропускающими ветер и непогоду через разбитые стекла и широкие щели в рамах. Комары и мошки, бич Севера, целыми стаями жужжат в тупе, ударяясь о грязные, тусклые окошечки, и не дают сидящим в ней ни минуты покоя*.

Но как бы неприглядна ни была лопарская тупа, и она оживляется и принимает праздничный и уютный вид, когда в углу ее разведут огонь в широком, из камня сложенном и выбеленном камельке — густой беловатый дым повалит в открытую широкую трубу его, а красный отблеск огня, гоняясь за тенью, перебегает по черным бревенчатым стенам тупы. Хозяйка-лопарка, подоткнув для большего удобства в движениях свой ситцевый сарафан (по-лопарски «кохт»), поправив на голове красный кумачный «шемшир», или «сороку»[56], принялась за хлопоты: спустила висящий на цепи над камельком железный котелок и стала варить уху из только что пойманных сигов. Поставила также и самовар. Правительство требует от содержателей станций, чтобы в станционной тупе был самовар. Сами лопари мало-помалу приучаются к чаю, но пьют его редко и

* Обыкновенно лопарская тупа в погосте бывает больше станционной. Она разделяется на 3 части. Сначала идут темные сени, откуда уже выходит дверь наружу, потом отдельно помещение для овец, которые не выносят мороза, как олени; жилая комната тупы составляет третью часть ее. Около ее камелька на полу и на лавках проводят всю зиму закутанные в теплую меховую одежду лопари.

очень крепким. Лопари пьют, кроме обыкновенного чая, также и траву, называемую «сарсапарелью»[57]; но это доступно только богатым лопарям, так как фунт сарсапарели стоит в Коле 4 рубля*.

Со своим делом наша хозяйка справлялась живо и искусно, мало говоря с нами, порой отталкивая небольшого мальчика, смотревшего на нас из двери тупы и мешавшего ей, когда она быстро выходила то за тем, то за другим. Лопарки вообще живее лопарей, и на лицах женщин, пожалуй, больше прочтешь ума и живой мысли, чем у мужчин. Лопарки вообще очень чутки и нервны. Некоторые доходят до галлюцинаций слуха и зрения; почти все очень пугливы и, раз испугавшись неожиданным появлением кого-нибудь или неожиданным звуком, они легко впадают в состояние исступленности, в котором не помнят себя.

До чего доходит нервность лопарок, свидетельствуют несколько рассказов, слышанных нами от лопарей, которые известны в их погостах под именем «бывальщин», то есть истинных происшествий. Так, одна лопарка видела двух будто бы прилетевших к ней барышень, «в черных платьях и шляпах, в лентах и гамашах — одна в кармане ключами бряцает, а у другой руки в кольцах полнехоньки». Галлюцинация дошла до того, что лопарка ясно слышала разговор этих двух женщин и даже сама разговаривала с ними.

Пока, шумя и свистя, кипел самовар и клокотала в котелке вскипавшая уха, я пошла посмотреть на лопарскую вежу. Четырехгранная и наверху срезанная пирамида, обложенная с наружной стороны дерном, до того маленькая, что на первый взгляд кажется невозможным войти в нее через крохотною дощатую дверь, обращенную к югу — вот лопарская вежа —

* Как напиток лопари употребляют и березовый сок. Квас делают редко. Пьют и оленье молоко, но кровь оленя употребляется только в смысле лекарства. Из горячительных напитков очень падки на водку и норвежский ром. Лопари начинают пить вино с 16 лет.

летнее жилище лопаря. Я открыла эту дверь и заглянула внутрь. Вокруг тлеющего очага (огонь в веже разводится на нескольких камнях, положенных прямо на землю) сидело пять-шесть ребят. Они молча и серьезно, кто ложкой, кто пригоршней, уписывали ягоды вороники из большой деревянной чашки, стоявшей на земле. Все финские, бледные, бесцветные лица — и между тем необыкновенно милые и наивные. На минуту их смутило мое появление; кто не донес до рта полную ложку, кто уронил из рук черные, жесткие ягоды, заглядевшись на незнакомое лицо. Но тотчас же они спокойно и довольно важно отвернулись и снова принялись за еду.

* * *

«Ка́рбас вот все налаживала»,— сказала мне хозяйка лопарка, довольно хорошо говорившая порусски. Она стояла на берегу озера. У берега легко покачивалось несколько ка́рбасов; на высоких шестах просушивались сети. Об огромные камни, составлявшие берег и частью вдвинувшиеся в воду, на которых мы стояли с ней, тихо плескалось озеро ровным, мягким прибоем, порою заливая нам ноги. В большом ка́рбасе, приготовленном для нас, за нос которого задумчиво держалась рукой лопарка, лежал небольшой мальчик. В костюме лопарки мне бросились прежде всего в глаза две-три побрякушки, привешенные к поясу. Оказалось, что это был нож и игольник, сделанные довольно искусно из лебяжьей кости — обе вещи помеченные родовым клеймом. Хозяйка объяснила мне, что каждая лопарка носит на поясе нож и принадлежности шитья, так как уменье хорошо шить ставится в особенное достоинство лопарской женщине.

«У нас и сватают больше ту девку, которая шить хорошо умеет. Которая «яры» сумеет сшить — ту и сватают»*.

* Подобно тому, как невесте-лопарке ставится необходимым требованием уменье хорошо шить — молодому лопарю, говорит

Действительно, чтобы смастерить «яры», требуется много искусства и много вкуса. «Яры» — зимние лопарские сапоги, высокие, доходящие до колен, с мягкой подошвой и с загнутыми кверху носками, шьются из узких полосок белой и темной оленьей шкуры. Между этими полосками вводят узкие полоски разноцветного сукна, такие же треугольники, зубчики и т. п. Таким образом, лопарка должна не только сшить яры так, чтобы швы были крепки и не пропускали снег или воду, но и заботиться о красивом, оригинальном рисунке, думать о расположении, о чередовании сукна и меха. Кое-что еще о сватовстве, о свадьбе сказала мне лопарка. Впрочем, она почти ко всему прибавляла с некоторым хвастовством: «У нас ведь все, как в городе»,— подразумевая под этим Кандалакшу.

Я спросила, ее ли мальчик лежит в карбасе.

«Мой,— ответила она с легкой улыбкой,— Васей зовут — да вот все плакал тут, что я с вами еду. Теперь вот не знаю, как быть».

Мальчик при этих словах быстро, точно кошка, вскочил со дна и повис на шее матери.

«Взять надо будет,— решила мать.— А у меня там еще есть маленькая, грудная»,— добавила она. Маленьких детей своих лопарки носят с собою. Колыбели их — выдолбленные куски дерева с тонкими стенками — очень легки и не обременяют матерей, когда им приходится носить их на шее. Ребенка опускают на дно этой колыбели, выложенной мхом, покрывают тряпками или оленьей шкурой. При перекочевках мать носит его на плечах или привешивает колыбель к рогу оленя. Отправляясь на работу, мать опять-таки уносит ребенка с собою и во время работы вешает колыбель на дерево и т. п.

Так и теперь, когда через час мы садились в лодку,— лопарка, сопровождавшая нас в качестве гребца, вынесла на руках колыбель с малюткой дочерью

г-н Дергачев, не позволяют жениться, если он не умеет свежевать оленей и убить дикого оленя (Дергачев. Русская Лапландия. Ч. III. С. 46.//Арх. 1877).

и бережно уложила ее на дно ка́рбаса. На носу уже давно притаился Вася и еще какая-то девочка.

Большой ка́рбас тихо отчалил от каменистого берега. Несмотря на то, что до следующей станции, Иок-острова, надо было сделать 30 верст по Имандре, нам дали только двух женщин-гребцов. Обе лопарки взялись за весла, и при помощи попутного ветра ка́рбас быстро и легко пошел перерезывать высоким острым носом седые волны.

Белая ночь уже давно царила на небе. Мы устроили себе изголовье из нашего багажа и улеглись на корме. Не совсем удобный, но приятный ночлег. Легко покачивается ка́рбас; волны с тихим, приятным, хотя однозвучным плеском ласкаются к нему. Бледное, ровное, тихо-мерцающее небо опрокинуто над головой. Ночной, довольно холодный воздух свежит своим дыханием и вливает в легкие какую-то особенную силу. Закрывшись легким туманом, точно заснули дальние берега. И среди этой ночной тиши, при которой и без того молчаливая природа Лапландии кажется еще тише, спокойнее, еще более проникнутой миром, отдыхается как-то особенно хорошо. Гребцы-лопарки не спят. Дружно гребут они, вытянув вперед обутые в бахилы ноги. Ни на минуту не прекращается между ними быстрая лопарская болтовня. Дети вначале тоже разговаривали, но их уже давно сморило утомление дня, проведенного, должно быть, в беготне. Уже давно не видать на носу их головок. Прикрывшись мягкой белой оленьей шкурой, они спят на дне возле закрытой со всех сторон колыбельки.

Рано утром нас будит своим пронизывающим холодом сырая мгла, лежащая на озере и на гористых берегах. Кругом все тихо. Одна лопарка спит, другая вяло двигает веслами. Под оленьей шкурой на носу, где спят дети, видно движение. Дети, по всем вероятиям, уже проснулись, но им не хочется выйти из-под теплого убежища на холодный воздух. Мы проезжаем лопарский погост. Стоят красиво разбросанные на диком берегу почерневшие пыр-

ты. Точно вымерло тут все. Ни души на берегу; не вьется синеватой струйкой приветливый дымок, не залает собака, любимица лопаря. До зимы останется пустынным погост. Оживится он около декабря, когда жители его вернутся с промыслов, чтобы снова покинуть его около весеннего Егория[58]. Ни одного сторожа не остается при погосте. Даже не заперты тупы. Лопарь не боится воров: их нет среди этого племени.

Вскоре начинает накрапывать дождь, который усиливается с каждой минутой. Мы благословляем судьбу, что вблизи виден берег. Сквозь густую сетку дождя мы вскоре начинаем различать лопарскую тупу и стоящую невдалеке от нее вежу.

«Иок-остров»,— говорит, лениво приподнимаясь со дна и берясь за весло, отдыхавшая лопарка.

Какая радость, намерзнувшись на холодном сыром воздухе, взойти в теплую тупу и обогреться у ярко пылающего камелька.

Пока мы греемся и пьем чай в тупе, в «кюите», или веже, стоящей невдалеке, отдыхают и гребцы-лопарки. Сидя вокруг теплого очага на полу вежи, покрытом свежими березовыми прутьями, они вместе с хозяевами едят горячие, только что испеченные лепешки, и ведут между собой бесконечно длинные разговоры. Тут же в одном углу вежи, крепко прижав к себе большую кошку, спит плохо одетый лопарский мальчик.

«Любит кошку; говорит: его кошка»,— объясняет, показывая на него, одна лопарка.

В веже душно от дыма, только медленно подвигающегося по направлению к отверстию, оставленному для него наверху — и вместе с тем довольно холодно, несмотря на то, что дверь плотно закрыта. Сносно только внизу, на полу, около огня, на котором теперь варится уха из сигов, общеупотребительное кушанье лопарей во время лета. Зимой ее заменяет оленье мясо, которого в свою очередь летом ни за что не найдешь у лопарей. Уху они едят с ржаными лепешками, которых нельзя назвать хле-

бом, потому что печь хлеб нельзя на лопарском очаге. Ржаной хлеб они поэтому покупают у русских. В случае голодовки заменяют его так называемой «сосновой кашей» — «пиэцьхуть» — т. е. смесью муки с сосновой корой[59].

Хотя дождь еще не переставал и, как казалось, зарядил надолго, мы немного времени оставались на Иок-островской станции. Мешкать на Имандре нельзя. Слишком уж изменчиво озеро. Неравно переменится ветер или налетит внезапно буря и глубоко взбороздит за минуту перед тем спокойные волны. Сами лопари советовали нам не упускать попутного ветра. При сильном противном ветре лопари не рискуют пускаться в путь; они знают, что это опасно и что, в конце концов, все-таки придется спасаться от бури. Часто лопари, внезапно застигнутые бурей на озере, принуждены бывают причалить к берегу и ждать, пока утихнет погода. Иногда вблизи нет ни погоста, ни отдельной вежи, и долго не предвидится возможности довериться разбушевавшимся волнам. И приходится терпеливо ждать на берегу, под холодным дождем...

По скользкому крутому берегу спускаемся мы к приготовленному для нас ка́рбасу. Воздух пропитан сырым, серым туманом; моросит мелкий, но частый дождик. Холодно — точно глубокая осень. Невольно как-то забываешь, что теперь середина июля. Лопари надели поверх своих холстинных рубашек («пайд») так называемые «бузурунки», из толстой шерсти плотно связанные рубашки, доходящие до пояса и напоминающие собою фуфайки. Связанные из такой же толстой шерсти, остроконечные колпаки у них на головах. Что касается до нас, то мы надеваем на себя все, что у нас есть. Не очень заманчивой кажется нам необходимость сделать 50 верст по озеру в такую погоду.

...Все одни и те же седые, сердитые волны. Над головой то же серое, пасмурное небо. Дождик не перестает; на дне лодки уже давно образовались от него большие лужи. Ветер однообразно шумит в парусе.

И так идут часы, томительно долго. Какое-то оцепенение падает на душу... Хоть бы скорее станция!..

Но вот дождь мало-помалу утихает; начинают блестеть отдельные капельки его поредевшей сетки. Бледно-желтым пятном светит солнце сквозь тучи, всеми силами стараясь пробиться сквозь них. Вот и пробилось — и как оживилось все разом. Побежали прочь серые тучи; голубое небо засмеялось сверху, и волны сначала переливчатого света — не то серые, не то голубые — скоро заблистали ослепительной синевой.

Лопарь, сидевший у руля и управлявший парусом, медленно снял свой остроконечный колпак. У него было прекрасное умное лицо, на котором выражение туповатой беспомощности, свойственное лопарям, заменялось сознательной добротой и спокойствием. И до того поразило нас это выражение, которое редко встретишь у туземцев, что мы спросили его, лопарь он или нет.

«Лопин — с Иок-острова, Афанасием звать»,— коротко ответил он. Оказалось, что Афанасий несколько лет служил матросом в нашем флоте и сравнительно недавно вернулся в родные края. Он отлично умел управлять ка́рбасом, видал различного устройства лодки, знал массу морских терминов. Он спокойно показал нам на свой парус.

«Таким нештo парус должен быть? — и он начал в качестве знатока объяснять недостатки его устройства.— Вот кабы по-настоящему состроили».

Один из наших спутников спросил его, почему он не покажет своим соплеменникам настоящее устройство карбасов.

«Не переймут,— возразил Афанасий,— привыкли по-старому — старого и дёржатся».

Как мы узнали впоследствии, Афанасий вообще пользовался большим уважением среди окрестных лопарей. Зависело ли это от того, что он больше знал, чем они, что он вынес из своей флотской жизни известный закал, которого они не имели,— или же от личного характера, величавое спокойствие ко-

торого вместе с добротой должно было действовать на них? Как бы то ни было, его советов слушались и к нему прибегали за разрешением споров и несогласий.

Ка́рбас, гонимый попутным ветром, быстро и легко мчал нас по синим волнам. Справа и слева на голубом, совершенно прояснившемся небе, мягкими контурами выступали горы. Сквозь легкую голубую дымку, лежавшую на них, белыми пятнами светился в некоторых местах снег.

«Высоки эти горы, должно быть?» — спросили мы.

«Высоки. Снег не тает порой. Там-то и есть наши кегоры — олени наши гуляют. Ягелю много».

Действительно, резко отделяясь от белого снега своим зеленоватым цветом, по вершинам этих гор расстилались причудливыми пятнами, то поднимаясь, то спускаясь, сплошь поросшие ягелем места. Это и есть «кегоры» — пастбища оленей, дикая прелесть которых говорит поэтическому чувству лопаря,— безлюдные, одинокие кегоры, так часто встречающиеся в его песнях, где летом отдыхают и находят себе пищу молодые сильные «ирвасы» и белые «важенки»*.

«А как называются эти горы?»

«Те вон — Хибинские; эти — Чуна-горы, т. е. не тут вблизи — это-то острова.— Афанасий указал на тянущуюся посередине озера целую цепь возвышенных островов, которые легко можно было принять за берег,— а вон там далеко».

Величественный, но мягкий силуэт этих гор навеки, кажется, останется в памяти.

Не помню, по поводу чего Афанасий заговорил о чуди. Предания о борьбе лопарей с этим враждебным для них народом до сих пор сохранились в Лапландии.

«Да что — самый пустой народ был, неразумный. Говорят, у нас раз дом себе поставить хотела чудь. Дом весь поставила, как следует. Только окна позабыла сделать. Вошла чудь, притворила дверь — ничего

* «Ирвасы» — самцы олени; «важенки» — самки.

не видит. А догадаться не могла, в чем дело». Лопари, сидевшие за веслами, расхохотались. Ничего нового не представляли и другие предания о чуди, рассказанные нам Афанасием. Общие всем народам ходят такого рода легенды, клонящиеся к унижению врага во всех отношениях. Осмеивают его умственные способности; рассказывают с гордостью случаи, когда удалось его перехитрить, обмануть. Все народы, прославляя себя в своих легендах, унижают врагов. Такой характер носят эти предания и в устах лопаря. Этот загнанный, забитый народ, оттесненный с берегов Онежского озера до Кольского полуострова*, теснимый и до сих пор отовсюду и всеми, как бы желает отомстить этим ничтожным средством превосходившему его силою врагу. И какой беспомощной, какой детской выглядит эта месть.

Откуда явились эти легенды в народе? Может быть, они служат отдаленным воспоминанием о борьбе со шведами, норвежцами, финнами или корелами. Быть может, в них говорится и о заволоцкой чуди; или же эти предания занесены из России, где о чуди, давно вымершей, ходит так много легенд. Но факт тот, что лопари и до сих пор боятся чуди. Буря ли, метель застигнет в пути лопаря — то чудь разыгралась, по его представлению, страшная чудь, которая теперь ушла в землю. Проезжает ли или проходит лопарь мимо острова, где, по старинному преданию, схоронена чудь, он старается молча и тихо миновать опасное место — иначе проснется чудь, разыграется и быть беде. И лопарь, так же как и помор-промышленник, который тоже боится чуди, знает много заговоров, способных защитить его от нее.

---

* Лопари, по мнению некоторых, жили раньше на берегах Онежского озера. Так, например, преп. Лазарь Муромский, спасавшийся на восточном берегу этого озера, упоминает в своем «Житии» наряду с другими народностями и дикую, но миролюбивую лопь.

* * *

Еще далекий путь впереди. Невольно стараешься поудобнее протянуть ноги на дне лодки, чтобы потом не чувствовать утомления на следующей тайболе, и как-то особенно наслаждаешься ездой в карбасе, с которым скоро придется расстаться.

«Хоть бы спели вы песню какую»,— говорим мы гребцам, которые неумолкаемо быстро разговаривают между собою. Гребцы, два молодых лопаря, сразу обрывают свой разговор, подталкивают друг друга, смеются и молчат.

«Спели бы,— проговорила угрюмая старуха-лопарка, сидящая в веслах на носу,— чего тут?»

Лопари перестали смеяться, переглянулись и, наконец, спросили:

«Какую же петь? Русскую?»

«Нет, свою».

Гребцы сделались совсем серьезными.

«Свои у нас не баские. Мы русские песни знаем».

Мы слышали уже ранее, что лопари начинают гнушаться собственными песнями, которые они охотно меняют на русские, точно так же, как олончанин забывает свои прекрасные «досюльные» песни для исковерканного романса, занесенного из Петербурга или с казенных заводов. Нет сомнения, что лопари жадно перенимают русскую культуру. Но, встречаясь на северном побережье только с самыми жалкими представителями ее — с кулаками-поморами, лопари едва ли не теряют от этого перениманья. Завелись у них кое-где, вместо дымных и грязных туп и веж — русские избы с русскими печами; в то же самое время лопарь с особенной гордостью меняет свой остроконечный колпак на русский картуз и теплую бузурунку на городской «пинджак», бросает старинные игры и заменяет их «кандрелью» и «ланцьетом»; наместо старых песен затягивает русские заводские или солдатские.

«Нет, спойте нам свою песню, лопскую»,— настояли мы.

Гребцы переговорили между собою — должно быть, о выборе песни и наконец запели.

Унылая печальная песнь. При этом утомительное однообразие мотива. Каждая строчка начинается возвышением голоса, который мало-помалу спускается к концу ее. Ничто не выражает так ясно характера народа, как его песнь; на ней лежит так же, как и на самом народе, отпечаток природы, среди которой она создалась. Вот почему, когда мне вспоминаются звуки лопарской песни, перед моими глазами воскресают серые, бесцветные лица, кроткие и миролюбивые, с забитым выражением — восстают картины Лапландии: зеленовато-серые тундры, лесистые горы, окружающие подчас безбрежное зеркало озер,— и над всем этим то яркое, синее, то молочно-белое, но всегда одинаково холодное небо. Здесь и солнце-то другое, чем в других странах; не царит оно мощно в синем эфире как будто дышащего неба; не играет оно знойным золотом в густой, роскошной растительности, как на юге. Мы за полярным кругом.

Нет, солнце не греет лопаря, не расшевеливает его; оно только светит в его стране — холодно и безучастно бросает лучи свои на светлые струи вод, на темные, как будто вечно дремлющие ели, на каменистые вершины гор,— точно не могут полюбиться ему после роскоши юга мертвые, хотя величественные красоты Лапландии. И бежит оно скорее из этой страны — туда, к любимому югу. А Лапландия остается надолго погруженной в ночной, холодный покой.

Лишило солнце своего тепла страну лопаря, лишило и его песню. Уныло, мертвенно поется она; не так ли уныло проходит вся жизнь лопаря?

Вот что пели наши гребцы. Привожу дословно перевод нашего гребца.

«Мужик жил холостой; взял ирваса (олень) и пошел в лес, и на ирваса ташку навязал. Пришел на высокие горы, поймал там дикого оленя; потом сделал кувас (походный шалаш лопаря), сварил мяса и

клал много дров. А дрова были смоляные, так что слёзы гонят из глаз. Он плакал по нем (лопари часто про женщину говорят в мужеском роде), что у него была любимая девушка. Вечером сказал: «Кабы она здесь была, я бы был спокоен». Потом вышел на высокую гору (посмотреть), куда ему идти. Он увидал там Колозеро и пробежал верст 50 один день — к милой попадает. Пришел на станцию, взял карбас и уехал на озеро. Запад-ветер сильно дует; он погреб и сломал весло. Пришел к ней и сказал: «Здраствуй, Настасья Никифоровна». «А, здраствуй, мой любезный Илья Максимович». Потом пошли они смотреть на оленей. Ходили сутки, нашли там другого мужика. Другой мужик отнял ее, а он рассердился и пошел домой. Пришел домой, взял и стал жить у отца и матери до зимы. Потом взял 6 оленей и поехал свататься. Она не хочет: «Коли ты меня бросил, не хожу за тебя». Афанасия-мужика он увел и говорит: «Ты у меня отнял милую и увез. Кабы была зимняя буря — ты бы замерз — туда не доехать и назад не приехать бы тебе».

«Это про того тут поется, с которым вы приехали с Иок-острова к нам на Разноволоцкую»,— объяснил нам гребец, окончив перевод своей песни.

«Как про того Афанасия?»

«Ведь все это так и было. Жил у нас мужик-лопин, Илья Максимович, и Настасья та была».

Надо отметить эту странную особенность лопарской песни. Лопарь поет про все, что случается в погосте: женится ли, умирает ли кто в погосте, приезжает ли жених к девушке-лопарке — все эти происшествия становятся предметом песни, которая иногда при этом переходит из погоста в погост, делая таким образом известным всей стране случай из жизни отдельного лица. Это-то и придает лопарской песне своеобразный оттенок: простого, безыскусственного рассказа, напоминающего эпос. Лирических песен нам не удалось слышать.

«Яков Кириллович — так, например, поет в виде простого рассказа лопарь — поехал в Сонгельский

погост жениться и стал звать Варвару Лукерьевну — говорил: «И ты, Варвара Лукерьевна, поедем нитки прясть* на Татьяну Алексеевну». Они и поехали; народ и говорит: «Как бы вас не облили опарой»**. Они приехали в Сонгельский погост. Варвара Лукерьевна заходила по погосту к Татьяне Алексеевне. Татьяна Алексеевна говорит: «Дай, отец, мне в приданое никольского быка***». Отец ответил: «Полно, тебе, девушка, молоть. На каком же я поеду к Соломонье Андреевне (отец был вдовец, объяснил переводчик, и хотел жениться на Соломонье). Отдадим никольского быка — не будет других быков, которые настолько прямы, чтобы ходить по такой бурной тундре, как погоднивая тундра. Чтобы перейти погодниую тундру, нужно ухо переломить (т. е. трудно перейти эту тундру)». Татьяна Алексеевна замолчала.

Но если лопарская песня не отличается разнообразием содержания, почти исключительно передавая бесцветные факты из бесцветной жизни лопаря — то, с другой стороны, она имеет одно ценное качество: в ней проходит в простых, но рельефных картинах вся лопарская жизнь, со всеми оттенками, с мелкими, характерными штрихами, придающими ей своеобразный характер,— так же ясно, как в светлых волнах лопарских рек и озер отражаются контуры их возвышенных берегов. Песнь не пощадит слушателя, не избавит его от описания мельчайших подробностей происшествия — будь то сватовство, убийство, драка, бегство девушки из родительского дома.

---

* Сваха, приезжая в тупу, или вежу, невесты, прежде всего начинает прясть нитки — чем дает понять, за каким делом она приехала.

** Когда приехавшим свату или свахе хотят отказать, то на верх двери становят чашку с водой или опарой таким образом, что сват, входя в тупу, непременно должен вылить жидкость на себя. Получив такое предостережение, сват или сваха уже ничего не говорят о расстроившемся деле.

*** Быком называют иногда оленя-самца, подобно тому как в Финмаркене зовут оленей — oxep.

И ясно рисуется тут не только быт, но все мировоззрение лопаря, его идеалы, наконец, национальный характер — гораздо лучше, пожалуй, чем воспроизводят его лирические песни народа. Какая чуткость души открывается, например, из следующей песни:

«Феодор Григорьевич — поется здесь,— да Феодор Филиппович играли — да Феодор Филиппович убил двух кольских мужиков. Он и пришел в погост. Девки стали его звать играть: «Феодор Филиппович, пой — поиграй с нами». Он и говорит: «Хорошие девушки, пойдите за хвойником в лес — там скривилась сосна; тут-то помяните Феодора Филипповича, он весело песни пел — хотел задавиться, качаться хотел». Потом говорит: «Я там бы задавился, если бы не пришел Кирилл Карпович». Девушки опять стали звать играть: «Феодор Филиппович, пожалуйста, пойди поиграть». Он говорит: «С вами, лопскими девушками, не хочу играть; меня кольские девушки ждут играть». Девки говорят: «С тобой кольские девушки играть не будут: ты у них двух мужиков убил». Он говорит: «Тюрьма — светлая избушка, ожидает меня. Я там буду сидеть. Простите, друзья, братья, товарищи, отец и мать, да сестра родимая — простите». Потом арестовали его».

Тоскливое состояние человека, мучимого совестью, здесь изображено мастерски. Ничто не радует уже убийцу, и он ждет того дня, когда поведут его назад в Колу, к тем кольским девушкам, в игре с которыми он совершил преступление, в тюрьму — «светлую избушку».

Но вот выходящая из ряду вон лопарская песня, проникнутая глубокой поэзией.

«Гуси-лебеди: gon, gon, gon — лебедка затужила об лебеди; у ней сердце ноет о нем, летает всюду по земле и нигде не может тоску забыть. Гуси-лебеди: long, long, long — лебедка летала, летала и пришла к ручью. Осип* — сердцева тоска сидит в ручье; у него красная рубашка на себе. Лебедка говорит: «Осип, ты

* Осипом величают вообще гуся.

где сидишь? Осип — сердцева тоска говорит, выйди; долго ли я буду искать?» Осип сидит в глубине на дне и не шевелится; у него волосы серебряные. Она стала приплакивать (думая, что его убили): «У тебя волосы были серебряные, у тебя гребень был золотой, на твое платье любо было смотреть — а теперь на кого я буду смотреть? Осип — сердцева тоска, отчего ты не выходишь?» Осип сидит там не шевелится, будто камень. Она приплакивала, приплакивала и пошла народ звать, не могут ли его вытянуть. Осип зашевелился и закричал: gon, gon, gon. Она пришла, созвала народ (человеков). Человек пришел к ручью, а Осип — сердцева тоска сидит в ручье; у него волосы серебряные, а гребнем золотым чешет. Опять лебедка стала приплакивать: «Осип — сердцева тоска, выйди оттуда!» Мужик стал его доставать, не мог достать. Потом карбас достал и стал доставать. Он не мог достать и подстрелил его. Лебедка опять заплакала: «Что ты, злодей, сделал, моего Осипа — сердцеву тоску убил». Она пошла тоже в ручей посмотреть, убит он или нет. Она обняла его и говорит: «Ты мой, Осип Христоданный — сердцева тоска, тебя мужик убил». Только она это слово промолвила и сказала: «gon, gon, gon», мужик ее тоже убил и достал и через плечо положил».

...Было уже довольно темно, когда мы, простившись навсегда с Имандрой, вышли на крутой берег речки Куренги, впадающей в него. Вечерний мрак уже спустился к лесу, через который шла эта тайбола. Ни звука кругом; молча стояли высокие сосны, точно глядели на нас сверху тысячами глаз своих зеленых макушек. Нога тонула в белом ягеле, который при каждом шаге приминается с сухим однообразным шелестом. Вдруг из чащи выскочил олень.

«Ирвас,— воскликнул, оживившись, один из нощиков,— ягель себе нашел».

Олень посмотрел на нас своими умными глазами и, казалось, нисколько не испугавшись, медленно пошел дальше.

«Вот застрелить бы»,— быстро сказал один из наших спутников с понятным оживлением любителя-охотника.

«Ирвас не дикий,— сказал нощик-лопарь.— Дикий боится человеков, он убежал бы».

Охота на оленей в Лапландии иногда имеет неприятные последствия. Не совсем легко, действительно, отличить дикого оленя от домашнего, выпущенного пастись на лето в горы и леса Лапландии. Хорошо еще, если у домашнего оленя привязана на шее или на рогах дощечка с клеймом владельца; но этот способ метки оленя выводится из употребления, и чаще всего их различают по метке на ушах. Впрочем, самим лопарям нечего разузнавать своих оленей. Когда, с наступлением зимы, оленей надо собирать к своему жилищу, лопарь пускает в леса и на «кегоры» (возвышенные места, покрытые ягелем) своих собак. Лопарские собаки прекрасно знают оленей своих хозяев; они собирают их и, бегая вокруг стада с громким лаем, не дают оленям разбегаться и мало-помалу загоняют их таким образом в свой погост. Впрочем, к зиме олени и сами подвигаются внутрь страны, где уже к этому времени не стало их злейших врагов, комаров и мошкары. Летом же они, подобно своим хозяевам лопарям, перекочевывают ближе к морю или поднимаются на кегоры, спасаясь все от тех же комаров и мошек, так что внутри страны нельзя увидать много оленей.

Любимец лопаря — северный олень, действительно, поражает своей красотой: прекрасные, умные глаза, стройные быстрые ноги и голова, украшенная широкими, ветвистыми рогами, то гордо поднятая, то спокойно выглядывающая из чащи какого-нибудь кустарника — вся эта полугордая, полудикая красота делает нам понятным, отчего лопарь так часто и так много восхищается им, что даже помещает его в своей песне «Молодой, сильный ирвас» — высшая похвала молодому лопарю; «белая важенка» — вот сравнение, которого удостаивается красивая лопарка. И неудивительно, что олень пользуется такой сильной

любовью лопаря; других домашних животных, кроме собак, кошек и овец, он не имеет — вся жизнь его слилась с жизнью этого прекрасного и невзыскательного слуги, друга, кормильца. Правительство сделало попытку заставить лопарей обзавестись рогатым скотом, приводя в основание то, что норвежские лопари держат у себя коров, быков и лошадей. Но не надо забывать, что скандинавские лопари, по свидетельству путешественника Koechlin-Schwartz*[60], посетившего норвежскую и шведскую Лапландию в 80-х годах,— делятся на оседлых и кочевых. Оседлые, действительно, занимаются скотоводством, между тем как кочевники-лопари не имеют возможности делать этого. Попытка нескольких русских лопарей, а именно нотозерских, продолжать кочевую жизнь, имея рогатый скот, путем опыта доказала им, что это невозможно. Не отказываясь от мысли держать скот, два лопаря с Нотозерского погоста, братья Глухие, оседло поместились на берегу реки Туломы. Имея назем, они на удобренной почве посеяли около своего жилища репу и картофель.

К удивлению лопарей, проба увенчалась полнейшим успехом; это было в 1886 г. На следующий год Глухие сделали то же самое, и урожай обещал быть хорошим**. Скоро, однако, лопари стали теснить Глу-

* Koechlin-Schwartz: Un touriste en Laponie.

** Огородничество относительно недавно стало распространяться на нашем Севере. В Пудожском уезде, например, теперь уже сеют репу, редьку и картофель, но все это недавнего происхождения. Капуста на Севере благодаря суровому климату не успевает завиваться; огурцы не родятся вовсе. Как редкость, показывают в Соловецком монастыре на Секирной горе парники с огурцами, которые идут только архимандриту. «В начале текущего года, читали мы в «Новом времени» за 1887 г., Императорское Вольное экономическое общество, по инициативе русского консула в Финмаркене[61] Д.Н. Островского, признало необходимым оказать содействие в западных колониях мурманского берега огородничеству, которое, благодаря влиянию океанского теплого течения, оказывается (на основании опыта) там вполне возможным. 26 апреля Комитет названного общества отправил на имя настоятеля Печенгского монастыря несколько пудов скороспелых семян огородных растений для раздачи прибрежным колониям». Печенгский монастырь, действительно, занимается

хих, прося их не ловить рыбу в Туломе и возвратиться в свой погост. Глухие подали просьбу правительству о дозволении им жить оседло на Туломе; решение этого вопроса было передано администрацией обществу, которое непременным условием жизни на Туломе Глухих поставило требование, чтобы они не ловили рыбу в этой реке. Глухим придется, вероятнее всего, удалиться с избранного ими местожительства и отказаться вместе с тем от начатого ими скотоводства, потому что, действительно, невозможны перекочевки по скудной и небогатой пастбищами стране со скотом, который, кроме корму, требует еще тщательного ухода за собой. Другое дело олень; невзыскательный на пищу, он сам отыскивает ее себе — зимой рогами и копытами отрывая ягель из-под снегу, летом убегая на кегоры. Вот почему те же самые фильманы[62], которые не держат рогатого скота, имеют большие стада оленей, иногда в сотни голов. Русские лопари не владеют такими огромными стадами; средним числом на каждого из них приходится только по 4 или 5 оленей. Но как в норвежской, так и в нашей Лапландии, олень единственное богатство туземца. Зато как холит, как любит лопарь своего оленя. Редко можно встретить вежу или тупу, на деревянной, прокоптевшей стене которой не увидишь грубо вырезанное ножом изображение оленя. Рисунок примитивный, в общих чертах только передающий замысел художника и напоминающий известные письмена американских индейцев. Иногда олень впряжен в «кережку», или «балок» (лопарские сани); иногда бежит один; иногда его сопровождает человек в лыжах и собака. Бедное украшение бедного жилья, свидетельствующее, равно как бедность метафор в лопарской песне, о неразвитости фанта-

---

разведением огородных растений, и при нас в г. Коле был получен из монастыря запас свежего салата; монастырь, рассылая по становищам образцы, намерен возбудить в поморах желание заняться огородничеством. Отмечу довольно курьезный факт, что в Коле, за исключением чиновников, никто не умел употреблять в пищу салат, да и сказать по правде, употреблять его, действительно, было не с чем, потому что Кола летом питается рыбой.

зии лопаря и вместе с тем о том, какую роль занимает в воображении его любимое животное.

«Когда приходишь на кегоры,— говорили нам лопари,— увидишь ирвасов и важинок — сейчас и начнешь им петь песню».

«Колокольна-важинка» красива (старшей важинке, которая ведет стадо, обыкновенно навязывают колокольчик на шею; оттого и зовут ее колокольней-важинкой) в кегорах старшая всех; она красива, да удала, да бойка.

«Сестрина-важинка» (у этой важинки много семейства и сестер, на что и указывает ее название) тоже красива, удала и бойка.

«Дожиданна-важинка» — она тоже красива, бойка, удала — кегорный наряд (т. е. она украшение кегоры).

«Пестры-глаза» — он тоже красивый, удалый, бойкий, прямой (т. е. он в упряжи идет хорошо и не сворачивает с дороги); он послухмяный (послушный).

«Красный бык» — старичок; он тоже прежде удалый был, бойкий, послухмяный был и прямой.

«Роги-густые» — тоже удалый; у него роги хорошие, густые.

И так про всех их споешь, что у каждого есть. А они то шею растянут, уши распустят: любо им, что про них поют».

Надо много нежности к любимому животному, чтобы сочинить целую песню, воспевающую качества его, и чтобы представить его любящим и понимающим эту песнь.

* * *

...Был четвертый час утра, когда мы, наконец, после утомительного дня достигли станции Масельга, уединенно стоящей на берегу Колозера. Кругом болото и тундра, а далеко от самого берега отступил реденький, молодой сосновый лес. С особенным удовольствием наши гребцы скинули с плеч ташки с багажом и отправились отдыхать в вежу.

С особенным удовольствием и мы, растянув наши пледы на полу тупы, улеглись, наконец. Помню, как тихо догорал огонь в камельке, распространяя тепло в тупе и освещая красноватым отблеском один из углов ее; как скудно лился бледный свет в окошечко; помнится — жужжали и бились комары о грязное стекло; озеро плескалось о берег — только все это так смутно, так неотчетливо. Усталость брала свое; мы заснули мертвым сном.

Когда на следующее утро я вышла умываться на озеро — мне представился прекрасный вид. Солнце ясно светило на небе, и все вокруг точно смеялось: голубые волны Колозера, сосны леска и красивые вершины гор на противоположном берегу, подернутые голубою дымкою. На всем лежал еще свежий блеск утра; но день обещал быть жарким. Невдалеке две лопарки готовили карбас. Обе были во всем красном; только на голове одной, красивой брюнетки с серьезным и умным лицом, как замужней, был надет красный «шемшир» — другая, молодая девушка, русая, голубоглазая, была в повязке[63]. У обеих, сверх их головных уборов, было надето по красному платку, предохраняющему их от комаров, а в ушах в большие, кольцеобразные серьги было воткнуто по пушинке гаги.

«Вы поедете с нами?» — спросила я их.

«Мы»,— отвечала старшая, которая лучше знала по-русски; девушка только приветливо улыбалась.

«Еще двое мужиков едут — вон те»,— она указала на двух лопарей, выходивших из вежи с ташками в руках.

Багаж распределяют между собою, смотря по силе каждого нощика. Так и теперь самую легкую ташку приготовили девушке; она благодарно улыбнулась и окинула всех ласковым и счастливым взглядом. Вообще она поминутно улыбалась так мило, что весело было глядеть на нее. Я спросила об ее имени.

«Настасья ей имячко святое,— ответила за нее другая лопарка.— Она с вами до самой Колы пой-

дет: оттуда в Кильдинский погост ей надо. Сосватана она уже».

Пока лопари укладывали наш багаж на дно карбаса, из вежи вышла молодая еще лопарка. Она, очевидно, была в гостях у масельгских лопарей и возвращалась теперь к себе; ее карбас стоял на берегу, уже совсем готовый; на дне его лежало несколько вещей и сидела, привязанная веревкой к ключице, большая черная кошка. Лопарка сказала на прощанье несколько слов своим хозяевам и села в лодку; но прежде чем взяться за весло, она подняла со дна кошку и, прижав ее к себе, начала ласкать ее. «Видишь, как любит свою кошку,— улыбаясь, указал мне на нее один из наших гребцов,— никуда без кошки своей не пойдет; вот к нам приехала — с собой взяла»*.

Лопарка улыбнулась, опустила кошку, взялась за весла и, крикнув еще что-то, отчалила от берега. Плавно понесся ее карбас по голубому озеру; кошка, привязанная за шею, сидела неподвижно; лопарка тихо запела песнь, которая унывным, однообразным мотивом доносилась до нас. Вскоре отправились и мы.

* * *

День выпал необыкновенно жаркий. Жара ощущалась еще не так сильно, пока мы ехали по Колозеру; но когда нас, наконец, высадили на болотистом берегу и пришлось затем пройти пешком верст 5 до Пулозера, то мы невольно стали благословлять серенькие дни и особенно прохладные, светлые ночи, при бледном освещении которых идется так легко и хорошо. Но вот и Пулозеро, голубое, не-

---

* Интересно замечание Мартиньи[64], приводимое Моном[65], об уважении, которым вообще пользовались кошки у норвежских лопарей. Мартиньи сообщает, что в каждом лопарском семействе он видел черную кошку, которую лопари считали за своего домашнего духа и с которым советовались в трудных минутах жизни (Mone: Geschichte des Heidenthums im nord. Europa. Leip. 1822. S. 39).

много волнующееся от ветерка, который лопари с удовольствием признают за попутный нам. Мы наставляем парус и, слегка покачиваясь в карбасе, предаемся ленивому покою. Кругом крутые, лесистые берега; ярче кажутся при сильном свете солнца хвои сосен; внизу ягель стелется пушистым покровом, на который яркие солнечные пятна и сквозная тень деревьев навели чудные узоры. Вот вдалеке между соснами мелькает красивая фигура оленя; он вытянул шею, нагнул голову и ест ягель. Вот на голубые волны опустилась целая стая уток-нырков — спокойно длинной вереницей плавают они.

Раздался выстрел, другой; гулко пронесся звук по воде и замер в окрестных лесах; утки нырнули в воду и скоро появились на поверхности далеко от прежнего места, а там слегка покачивались на волнах две из них, убитые нашими спутниками. Мы подъехали и взяли наши трофеи; лопари добродушно смеялись.

«Ужо приедем на Кицкую станцию — зажарим их вам на рожне».

Способ жарить дичь «на рожне», распространенный среди лопарей, заключается в том, что убитую птицу натыкают на деревянный колышек и этот колышек втыкают в землю около очага; потом перевертывают его до тех пор, пока птица не изжарится. Не можем похвастаться, чтобы мы оценили этот способ приготовления жаркого. Лопари услужливо несли от станции Кицкой до самой Колы колышек с изжаренной птицей, напрасно ожидая, что мы съедим ее.

Но вот и конец Пулозеру; узкой, извилистой лентой вытекает из него порожистая река Кола. Мы уже близко к океану и к цели нашего путешествия.

«Кумжа-то как плещется»,— говорят нам наши гребцы, вытаскивая карбас на берег небольшой бухточки. Действительно, невдалеке раздается довольно сильный плеск, и ежеминутно из воды выскакивает рыба, блестя на солнце чешуей.

«Через пороги перескакивает,— объясняет лопарка,— перейти-то тоже трудно».

Известно, что семга мечет икру свою не в море, но в реках, куда она удаляется из моря к тому времени, когда ей надо метать икру. Таким образом, молодая семга, или как называют ее на Севере — кумжа выводится в реках. Через несколько времени она возвращается в море; но, не будучи в состоянии переплыть большие пороги, она перебрасывается через них. Высоко взлетая над поверхностью воды, она падает с громким плеском на другую сторону порога; и так, преодолев трудности, преграждающие ей путь, она возвращается в родные ей соленые воды, если только на пути не попадет в сеть семужьего забора, которые ставятся лопарями и русскими почти что на всех порожистых реках, текущих в море.

Долго стоим мы на берегу реки и смотрим на усилия рыбы пробиться через порожистые места, между тем как наши нощики уже давно шагают по сухой лесной тайболе. Никто не остался показать нам дорогу: сбиться с пути трудно, потому что всегда одна тропинка и идет через тундру. Смело можно пуститься по ней. Через несколько времени мы уже обгоняем наших нощиков, которые отдыхают на мягком ягеле. Особенно устали женщины; спустив с плеч свою ношу, красавица-брюнетка вытянула вперед отекшие ноги и руки, уставшие придерживать у плеч веревки ташки; Настасья разрумянилась еще больше от жары и утомления, но все-таки ласково улыбается нам.

«Идите вперед — догоним»,— кричат нам вслед лопари.

Тайбола кончается крутым песчаным спуском к той же реке Коле. Прелестный уголок — и как хорошо отдохнуть на теплом песке, в ожидании нощиков. Сквозь желтые иглы, покрывающие всю почву, пробивается жесткими, узкими стебельками дикий лук, гордо подняв кверху свои светло-лиловые цветы, и тут и там отдельные кустарники пахучей, нежной, розовато-белой гвоздики. Сосны столпились у самого берега реки; между их густыми рядами мелькают шумливые, быстрые струи ее. Небо теперь уже

заволокло тяжелыми серыми тучами, обещающими дождь или даже грозу. На их величественном грозном фоне вырисовываются налево близко подступившие своей зеленой громадой горы — Оленьи тундры. Мягкие, волнистые контуры; на самых вершинах светло-зеленые кегоры выступают как-то особенно ярко на темно-зеленом фоне хвойного леса, одевающего мягко скользящие вниз склоны. Тут и там темные овраги, ущелья; их также покрывают хвойные деревья, и в общей темно-зеленой одежде гор они кажутся темными причудливыми складками. Вот в последний раз скользнул луч солнца по горам; засветились высокие кегоры; зажглись тут и там золотистыми пятнами освещенные места. Горный пейзаж на минуту предстал перед нашими глазами во всей прелести оригинального, эффектного освещения. Потом грозные тучи медленно стали собираться над вершинами гор и, сгустившись, тяжело повисли над ними.

«Быть дождю»,— коротко заметил один из наших нощиков-лопарей, пришедший первым.

...Кругом на горах залегли мрачные тучи. Мурдозеро, по которому мы ехали, уже давно окрасилось в монотонный стальной цвет. Было душно, и парус, который мы было поставили, севши в карбас, только слабо надувался ветром. Лопарь-гребец вынул рыбник и принялся есть запеченную в него рыбу. Уморительно было его лицо, некрасивое, но добродушное, со светлыми всклокоченными волосами и отвислыми губами, которыми он аппетитно причмокивал при еде. Лопарки между тем с большой охотой жевали дикий лук, сорванный ими на берегу. Они было предложили его нам, но мы отказались от такого вкусного лакомства.

По одной из тех случайностей, которым подвержено бывает течение разговора, мы заговорили между собою об известной сказке о Шемякином суде. Припоминая ее, один из наших спутников рассказал ее всю. При этом мы вдруг заметили, что лопари внимательно слушают нас. Когда дело до-

шло до того, как несколько раз взимали деньги с судящихся братьев за вход к Шемяке, лопари стали смеяться. Но ничто не могло сравниться с их восторгом, когда они услыхали, что несправедливый судья был обманут. Чисто детский восторг; смех, который является единственно возможной местью беззащитного народа против оказываемых ему самому несправедливостей. Вся система подкупов, обирания беззащитных, ярко очерченная в сказке, в умелом и живом пересказе, переданном нашим спутником, являлась как бы страницею из действительной жизни лопаря. Долго не могли успокоиться наши гребцы. Вообще у лопарей сильно развита любовь к разного рода рассказам. По воскресеньям молодежь в погостах собирается для разных игр, между тем как старики ведут между собою беседу. При этом, замечает г-н Дергачев, у слушающих постоянно движутся губы, как будто они повторяют каждое слышанное слово. Молодежь, кроме игр, любит забавляться и рассказами басен.

...Уже давно угрожавший нам дождь застал нас на той же реке Коле. Вечерело; мрак и сырость сгустились над темными волнами и в густых лесах, толпящихся по крутым берегам. Скоро серая пелена дождя совсем окутала зеленые кудри лиственных деревьев; быстро пронесся по ним ветер, перевертывая листья и придавая им сероватый оттенок; потом мрачно поникли они. Гребцы стали торопиться.

Но вот внезапно донесся до нас грозный гул порогов. Невдалеке, мелькая белой пеной сквозь темную зелень деревьев, прямо перед нами, широкой лентой обрушивалась с большого камня река Кола. А сбоку, пенясь и шумя, точно стремглав летела в нее другая река — Кица. На мысу, образовавшемся слиянием этих двух рек, стояла почерневшая тупа и крохотная вежа — станция Кицкая.

«Не проехать тут в одном ка́рбасе,— сказал лопарь-рулевой, указывая на большие камни, только немного прикрытые водой.— Позвать надо, чтобы подали другой карбас». Но на берегу не было замет-

но никакого движения. Казалось, лопарское жилище вместе с его обитателями вымерло.

Рулевой встал в лодке и пронзительным голосом, с расстановкой произнося слова, закричал:

«Петр, по-да-вай кар-бас!»

Звук пронесся и замер. Никто не отвечал на него. Все опять погрузилось в молчание. Как-то особенно явственно в темноте слышно было, как журчала Кица и шумел однообразный дождь, падая на воду.

«И-ван, Петр, кар-бас по-да-вай-те, карбас!» — снова раздался крик.

На этот раз нас услыхали; из вежи выскочило несколько лопарей; они что-то закричали, увидав нас, замахали руками и быстро стали отвязывать карбас от берега. Разместившись в двух лодках, мы без препятствий достигли берега.

* * *

Станция Кицкая — последняя по пути из Кандалакши в Колу. Ясно заметна на самих лопарях близость города. Наши нощики все отлично знают русский язык. Один из них даже может похвастаться тем, что окончил курс в Кольском училище. В костюме они также стараются приблизиться к городским жителям: у некоторых есть «пинджак» и русский картуз; нет у них и того добродушного наивного выражения, которое поражает в глубине страны.

Еще дневной переход — и мы будем у цели нашего путешествия. И вспоминается мне теперь этот дневной переход — вспоминаются тундры и болота, густые сосновые леса и все та же река Кола, то преграждающая нам путь своими порогами, то мирная и плавная — богатая рыбой и жемчугом Кола, круто извивающаяся, стесненная с обеих сторон высокими берегами, по которым так приветливо теснится веселый лиственный лес; порой с их крутизны свергается поток, небольшой, но быстрой струей; порой из-за их высоких стен выдвинется вершина другой горы, голая, каменистая, темно-желтая. Вспоминается и то особенное чувство, когда наконец мы очу-

тились на вершине горы Соловараки, доминирующей под городом Колой. Был 6-й час вечера; серое, дождливое небо повисло над всем пейзажем: над серым пятном города, лежащим там где-то глубоко внизу, над темной гладью между гор прокравшейся узкой морской губы и над широкой поверхностью реки Туломы, впадающей в нее.

Было время прилива: Тулома, наполненная морской водой, широкой, серебристой лентой светилась между обступившими ее горами. Легкий туман скрадывал ее широкую даль. Приятно было наконец отдохнуть в городе промокшим путникам, а все-таки так сильно манила, притягивала к себе красавица Тулома.

VII
КОЛА

На небольшом мысу, зеленым отлогим скатом спускающемся к морской губе (длиною в 60 верст), раскинулась Кола. Точно заснула она тут со своими двухэтажными деревянными домами, с маленьким белым собором, с рядом амбаров на береге, с неповоротливыми шняками[66], вытащенными на зеленую траву. Ровно два раза в день из-за гор нахлынет могучим потоком вода из океана и с тихим, едва слышным плеском зальет огромные желтовато-серые валуны на дне и высокие сваи, на которых стоят амбары. Ровно два раза в день отхлынет эта масса воды и сильным течением убежит за высокие горы. Обнажатся тогда сваи амбаров, заблестят еще мокрые носы и борты шняк, на дне поднимутся огромные камни, к которым прилепились жирной темной сетью водоросли, да на далекое пространство потянутся мокрые и упругие песчаные отмели. И ровно два раза в сутки поднимается и опускается уровень воды в реке Туломе, впадающей в Кольскую губу. Делается ли отлив — Тулома быстро побежит за солеными морскими струями, и обнажится песчаное дно ее, устланное пахучими водорослями. Но вот начинается прилив, и морская вода бросается в широкое устье Туломы, останавливает ее волны и на 10 верст наполняет ее.

Какой красавицей становится тогда Тулома. С обеих сторон окаймленная высокими горами, она гордо плещется серебристыми волнами о их гранитные

стены — и горы, точно любуясь ею, расступаются и дают ей место, так что, разливаясь у устья своего на 90 саж.[67] в ширину, она в 6 верстах[68] от города достигает 600 саж.

В противоположность величественной, спокойной красавице Туломе, с другой стороны города, из-за высоких, частью песчаных, частью каменистых гор, рвется синяя шумливая Кола. Белой пеной разбиваясь о камни порогов, высоко взлетая жемчужными брызгами там, где ей преграждают путь слишком большие камни, она несется быстро, точно без оглядки, точно разметав на бегу беспорядочные синие волны, и успокаивается только тогда, когда шумно вольется в спокойную морскую глубину.

Вода окружает с трех сторон Колу. Она точно оцепила колян, не дает им проходу. И спит Кола, как будто стесненная этими разнородными струями, этими молчаливыми, точно заколдованными горами, залегшими всюду вокруг — за Туломой, за рекой Колой, за морской губой. А там за самим городом, отступив от нее на несколько десятков саженей, возвышается гора Соловарака, своими отрогами уходящая вдоль правого берега Туломы. Покрытая лесом-кустарником, поросшая по граниту мелкорослой полярной флорой: ягелем, мелкой брусникой, толокнянкой, черникой, голубицей и вороникой, эта, имеющая 250 фут. в вышину, гора стоит одиноко и печально, точно на страже. В 1873 г., во время землетрясения, часть ее, спускающаяся к реке Коле, обвалилась — и теперь, точно зияющая рана, желтеет один бок ее, лишенный и той тощей зелени, которая хоть немного скрашивает остальную часть ее. А там, взберетесь вы на ее вершину — вам предстанет ягелевая тундра, сухая, бесплодная, и на ней мелкорослые бедные березы, между которыми уходит вдаль узкая, едва заметная тропа — это путь в глубину Лапландии. Зато обернетесь вы назад — вы тотчас минуете равнодушным взглядом кучу серых домов внизу и с восхищением остановите взор на зеркальной, серебряной глади Туломы, залюбуетесь

на пенящиеся волны игривой Колы и на спокойное величие морской губы. Дикий северный пейзаж, не блещущий роскошной растительностью, восхитит вас и здесь своим суровым молчаливым величием. Притом природа, не наградившая прочими дарами север, не щадит для него эффектных освещений. Прелесть, которую они придают северному пейзажу, мало нам знакома. Нет у нас художников, которые мастерскою кистью передали бы ее нам. А между тем богатую жатву дал бы север талантливому пейзажисту. Сколько раз, бывало, эта самая Кольская губа изменит свой вид благодаря освещению. Падет на нее розовый отблеск вечерней зари — она вся зарумянится, загорится нежными переливчатыми тонами. Тулома — та уже давно закуталась в серебристый покров тумана, забежала за крутые горы, спряталась, притаилась за ними — а тут, около моря, она мрачна и спокойна, и тень от ближайшей горы уже давно легла на нее. А морской залив все еще светится нежным багрянцем, и чистое прозрачное небо глядится в его спокойные воды. Прошло всего несколько часов — и на небе вспыхивает веселая утренняя заря. Ярким золотом подернулось от нее все небо, а она, румяная, радостная, и губу уже зажгла червонным золотом. Спят пока еще в легком тумане горы — когда-то еще проснутся они? — а губа уже пробудилась, переглядывается с веселой утренней зоренькой.

Ясный безоблачный день совершенно изменяет весь пейзаж. Еще пуще, кажется, шумит и беснуется веселая Кола, прыгая вниз по порогам; Тулома горделиво переливает на солнце свои волны, точно разоделась она в искрящуюся одежду. Бухта голубая, ясная, спокойная, тихо плещется у зеленого берега, ласкается к поросшим лесом крутым берегам. Даль окутана туманом, тем особенным голубым туманом, который мне приходилось видеть только на Севере, в волнах которого так красиво покоятся зеленые леса и светлые кегоры. Что скрывает этот голубой туман? Какая чудесная страна находится за его та-

инственным светлым пологом? Но полно, стоит ли идти туда, разыскивать эту чудесную страну, когда и тут так хорошо. Да идти не хочется. Жаркий день обессиливает вас совсем. Да и все отдыхает кругом. Дремлет морская губа в зеленых берегах; дремлют и высокие горы. Даже чайка вон там точно застыла в растворенном лазурью воздухе. Как чуден Север в своей дикой красоте и пустынности.

Но не красивое место, а выгодное положение у трех водных путей, близ рыбообильной морской бухты, привлекало, должно быть, смелых новгородских насельников, которые, проникая все глубже и глубже на Север, завели на этом небольшом мысу свою колонию. Уже в XIII в. имя Колы упоминается в летописях: в числе других новгородских поселений на мурманском берегу и Коле выпала на долю упорная и долгая борьба с воинственными соседями, шведами, естественными соперниками русских в деле колонизации северного побережья. Тогда еще Кола ниоткуда не получала помощи и наряду с другими русскими колониями должна была обороняться собственными силами. Только в XVI в. Кола начала получать помощь от государства. В 1582 г., по повелению царя Иоанна Грозного, здесь был построен острог для обороны от шведов. Эта помощь жителям Колы оказалась вовсе не излишней: 8 лет спустя — в 1590 г., шведы, под предводительством некоего Кафти, появились недалеко от Колы на р. Туломе на острове, называемом еще до сих пор Немецким в память этого нападения. Шведы были удачно отбиты колянами, Кафти взят даже в плен со множеством добычи. Нападения шведов между тем возобновлялись постоянно, так что в XVII в. правительство сочло нужным послать в Кольский острог 100 стрельцов, а Петр I велел укрепить Колу большой деревянной крепостью. В 1780 г., при Екатерине II, Кольский острог был назван окружным городом, а в 1784 г. уездным городом Архангельской губ.

Бурна история Колы. Основанная воинственными новгородскими ушкуйниками[69], она, казалось,

была обречена на вечные битвы. Едва только прекратились нападения шведов, как начались против нее враждебные действия англичан. В 1809 г. англичане высадились на берегу Кольской губы[70]. Кола была почти что беззащитна: в ней находилось только 50 солдат. Жители решились, однако, мужественно защищаться. Отправив жен и детей со своим имуществом в горы, они сами, под начальством купеческого сына Матвея Герасимова, составили ополчение из 300 человек. Но перепуганный неприятелем городничий (городничие появились в Коле с 1797 г.) велел ополчению разойтись и не препятствовать высадке неприятеля. Жителям осталось только последовать за своими семьями в горы. Таким образом город был взят, и враги, захватив с собою в плен городничего, уехали из Кольской губы с большой добычей*.

Но самое страшное нападение на Колу англичан, еще памятное многим жителям города, произошло 10 августа 1854 г. Вот как рассказывал нам про появление неприятеля в Коле один из очевидцев, мещанин Лоушкин. Английский корвет «Миранда», крейсируя вдоль мурманского берега, захватил шняку с кольскими промышленниками. На шняке, кроме трех кольских мещан, находились еще двое поднадзорных. (Кола уже давно была местом ссылки; первые преступники были сосланы туда в 1550 г.**). Мещане, говорил Лоушкин, были посажены неприятелем в трюм, а поднадзорные оставлены на свободе. Вслед за тем «Миранда» двинулась в Кольскую губу. И до сих пор пароход не подходит к самому городу, но останавливается в трех верстах от него, в одной из многочисленных бухт губы, так как ближе к берегу губа считается слишком мелкою. Поднадзорные показали англичанам место стоянки судов, где и остановился неприятельский корвет. Затем была спущена шлюпка и губа исследована неприятелями.

---

* Дергачев Н. Русская Лапландия. Отд. I. Стат. описание. С. 93—97//Арх. 1877.

** Там же. С. 94.

Оказалось, что можно проникнуть и дальше в губу, и англичане, бросив бакана[71], вернулись на корвет. Жители отлично видели все действия неприятеля. Поэтому тотчас после отплытия неприятельской шлюпки двое из них — мещанин Балашов и Григорий Немчинов, подъехали к баканам и отрезали их. Несмотря на эту меру, англичане добрались до самого устья р. Туломы и тотчас же потребовали сдачи города. Отправившийся для переговоров Гр. Немчинов ответил, что он на это не получил разрешения от бургомистра[72]. Тогда англичане объявили, что если сдача не последует через 5 часов, они откроют огонь. Защищаться было почти невозможно: в городе было всего 120 солдат, притом ни одного орудия. Однако Кола не сдалась. Прибегнув к обыкновенному месту защиты — горе Соловараке и окружающим ее лесам и горам, коляне отправили туда свои семьи. Сами же они остались со своим комендантом защищать родной город до последней возможности. Неприятельский огонь был ужасен: он продолжался непрерывно больше суток. Запылала вся Кола. Собор был насквозь прострелен, но еще стоял, пока, наконец, занявшись от горевшей деревянной стены старинного острога и деревянной башни, стоявших возле него, он не обратился наконец в кучу обгоревших бревен и досок. Под старинную деревянную кладбищенскую церковь Колы, построенную еще в 1727 г., неприятели подложили мину, но она както образом осталась невредимою. Истребив огнем почти что весь город, англичанам, однако, не удалось сделать высадку. Коляне помешали ей, и, оставив груду жалких развалин, «Миранда» наконец удалилась из Кольской бухты *.

Кола быстро оправилась от погрома, отстроилась заново и лучше, чем прежде. По плану под каждый дом был отведен довольно большой участок, так что здания не лепились друг к другу, как прежде, и представляли меньше опасности в случае пожара. Но на плане, составленном раньше постройки города, по-

---

* Ср.: Дергачев Н. Русская Лапландия. Отд. I. С. 97, 98.

мечено гораздо больше домов, чем их есть в действительности. Теперь в Коле меньше 100 домов (из них один каменный — здание казенное), которые все расположены вдоль двух улиц, густо поросших травой. Дома большею частью двухэтажные, с двором, иногда с огородом. Разведение овощей только что прививается в Коле, да и северный климат не допускает большой роскоши и разнообразия огородных растений. А дворы какие-то мертвенные и пустынные: не увидишь на них ни кур — любимцев хозяйки средней полосы России, ни гнедой савраски, мирно пощипывающей зеленую сочную траву, которой здесь так много*. Внутри дома страдают такими же недостатками в постройке, как и в любой северной деревне: стены между комнатами и потолки в высшей степени тонки, окна обыкновенно остаются с двойными рамами круглый год, так что комнаты вентилируются только через дверь, и т. п. Убранство составляют: кисейные занавески на окнах, киот с образами, за который обыкновенно бывает засунута пропыленная тетрадка со «Сном Богородицы»[73], и на стенах несколько лубочных картин. Один ряд домов выходит на зеленый берег губы. Тут у самой воды стоят амбары кольских купцов; они построены так, что вода во время прилива подступает к ним, и посредством блока можно нагружать шняки прямо из амбара. Немного поодаль лежат вытащенные на берег белые шняки. Дальше несколько карбасов привязаны к берегу; во время прилива они то и дело стукаются бортами друг о друга и о большие камни на дне, а во время отлива остаются печально накренившимися на песчаных отмелях. А на самом мысу — там, где Тулома соединяется с морской губой, стоит белый крест. Другой крест как бы заканчивает город

* На Севере не держат кур. В поморских селениях жители объясняли это тем, что будто бы трудно держать их, так как их едят собаки. Вот почему в Коле очень трудно достать яиц; их выписывают из Архангельска, и десяток их обходится в 35—60 коп. Лошади совершенно не нужны поморам. На всем мурманском берегу есть две лошади: одна принадлежит фактористу Савину, другая — кольской купчихе Филипповой.

на противоположном конце его, около устья р. Колы. Там построена часовенка во имя Спаса Милостивого, и около нее высится старинный крест под навесом. По кольскому преданию, он был поставлен собственноручно Варлаамием Керетским, святым, очень почитаемым на всем Севере. На нем находится следующая надпись, которую можно еще ясно различить: «Лета 7143[74] (т. е. 1635) июня 16-го крест... на поклонение всем православным при благоверном царе и великом князе Михаиле Феодоровиче всея России».

Главное украшение Колы, без сомнения, ее собор. Он построен на месте прежнего, сожженного англичанами в 1854 г. Старый восемнадцатиглавый собор был построен в 1684 г. и отличался своей прочностью и красотой. Г. Максимов[75] приводит интересное предание, связанное с его построением,— предание, которое нам лично не удалось слышать от колян: мастер, выстроив его, перед всем народом бросил топор в реку Тулому, запил и уже ни разу в жизни не брал топора в руки и не рядился на другую постройку*. Теперешний Кольский собор далеко не отличается красотой. Он представляет большой каменный куб, в 2 света[76], выкрашенный в белую краску и увенчанный широким и приземистым зеленым куполом. Внутри белые гладкие стены, не украшенные образами, и бедный низкий иконостас производят холодное, неприятное впечатление. Всего в нем три придела: во имя Воскресения Христова, св. Николая Чудотворца и св. Алексея Божия человека. Боковые приделы еще беднее и сумрачнее главного. Новый собор обнесен низкой деревянной решеткой. На образовавшемся таким образом церковном дворе стоит достопримечательность Колы, единственное воспоминание об ее бурном прошлом: разбитая 6-фунтовая пушка. По словам одних, она была разбита во время последнего нападения англичан; другие говорят, что она и до этого сохранялась, как воспоминание о бывшей тут крепости, уничтоженной при Екатерине II. Тут же на дворе воздвигнут

* Максимов Г. Год на Севере. СПб., 1871. С. 186—188.

большой крест с дощечкой, на которой кратко рассказан пожар прежнего собора.

Есть в Коле и другая церковь во имя Св. Троицы, так наз. кладбищенская. Она стояла прежде на узкой, длинной косе, вдающейся в морскую губу, окруженная молчаливым и неуютным, чисто поморским кладбищем. Но во время землетрясения в 1873 г. р. Кола изменила свое русло, снесла часть косы со многими могилами и из косы сделала остров. И уныло, одиноко стоит кладбищенская церковь, отделенная шумливой Колой от города. Она очень древна и ветха, но пользуется глубоким уважением у колян. Перестроить ее намереваются уже с 1878 г., но никак не могут энергично приступить к делу. А между тем в Троицкой церкви править службу является уже невозможным благодаря ее ветхости. В прежнее время в каждый большой праздник священники (их в Коле два) переправлялись на кладбище и служили обедню в Троицкой церкви, где находилась всеми почитаемая икона Св. Троицы. Теперь же, когда за ветхостью церкви служить в ней опасно, священники заперли ее совсем, а икону Св. Троицы перенесли в собор. Этим они возбудили сильное недовольство среди колян, которые убеждены, что самой иконе не нравится такое перемещение. Ходят слухи среди жителей города, что часто ночные сторожа видели в кладбищенской церкви зажженные свечи и лампады — некоторые даже слышали службу.

«А попы и не взойдут,— с возмущением говорили нам коляне,— трудно нешто переехать на остров? Так никто и не ходит туда».

«Бают, вишь, пасть она может, народ задавить. Так уж будто разом всех и убьет? Уж кого убьет — жить тому, значит, не положено. Смерти без смерти не бывать».

Пустынно и мертвенно-тихо в Коле летом. Мужчины почти все на промыслах, куда они отправляются раннею весной, чтобы возвратиться в родной город только позднею осенью. Женщины сидят преимущественно дома, справляя домашнюю работу.

Даже в церкви на службах бывает мало народу. На улицах только и увидишь, что ребятишек. То они шумно играют в мяч на зеленом морском берегу; то, взвалив на плечи весла, они бегут к морю, чтобы, переехав на другой берег губы, набрать на торфяном болоте желтой морошки; то видишь — целый отряд их идет с корзинами и грабилками* в руках на Соловараку за грибами, черникой и вороникой**. Но кроме их веселых, молодых голосов, вы редко услышите оживленный шум на улице. Редко-редко только пройдет какой-нибудь колянин, стуча сапогами по деревянному тротуару,— пройдет быстро, решительным шагом, к амбару или к шняке; вот медлительно, лениво возвращается домой из присутственного места[77] должностное лицо; вот две колянки в сарафанах и высоких кокошниках идут за водой к р. Коле. Стих шум от их шагов, и снова молчание. Через несколько минут видишь того же колянина, возвращающегося так же быстро из амбара; те же колянки идут, отягченные полным ушатом,— пройдут, и снова наступит тишина. Добрые хозяйки редко выходят из дому: они должны стряпать, обшивать семью, вязать толстые чулки для ходьбы (тут при ходьбе по каменистой почве, поросшей ягелем и жестким кустарником, предпочитают толстые шерстяные чулки сапогам, которые скоро рвутся и стоят очень дорого, несмотря на то, что изготовляются чаще всего дома; иногда к этим чулкам пришивают кожаную подошву) и исполнять другие домашние работы.

---

* Грабилка — род деревянного совочка, оканчивающегося деревянными же зубцами. Грабилка специально употребляется для обирания жестких ягод вороники, рвать которые руками и поодиночке было бы положительно невозможно. В середине грабилки находится отверстие, в которое продувают иглы, попавшие вместе с ягодами.

** Из ягод, встречающихся около Колы, можно указать на морошку, чернику, голубицу, толокнянку и воронику. Все они идут в пищу. Толокнянку, кроме того, подмешивают к муке; воронику сушат, потом парят, посыпают мукой и едят с хлебом. Вороника считается также поморами хорошим средством против цинги.

По праздникам город оживляется немного больше, но только тем, что на улицах прибавляется число пьяных. Кола пьянствует постоянно. Норвежский ром, ввозимый и до сих пор в большом количестве в поморские становища всего мурманского берега, несмотря на недавнее запрещение правительства, в большом употреблении в Коле.

Пьянство достигает еще больших размеров во время пребывания в Коле лопарей. Оживляется и город, по которому то и дело снуют кучки лопарей и поморов. Лопари, как известно, являются в Колу, чтобы свести счеты с кольскими купцами.

О меновой торговле лопарей с поморами писали часто и много. Поэтому только в общих чертах припомню эту торговлю, которая является грубым средством эксплуатации лопарей. Находясь в Коле, лопари закупают все нужное в хозяйстве, как то: съестные припасы, некоторые хозяйственные принадлежности, материи на одежду, порох, дробь и т.п. у кольских купцов — покупают все это в долг. Расплачиваться они должны рыбой, которую обязуются представить к известному сроку в Колу. Лопарь никогда не обманет и, действительно, к назначенному времени приезжает в Колу со своей семгой. Тут-то и начинается грабеж лопарей. Прежде всего кольские купцы на все свои товары назначают огромные цены — так, например, аршин ситца стоит в Коле 25—30 коп., 1 фунт сарсапарели, любимого напитка лопарей[78], который они, кроме того, употребляют как лекарство — 4 р. (вместо обычной цены 2 р.) и т. д.* Отдав рыбу своему хозяину, причем большое количество ее отчисляется в брак и поэтому сбывается ими за уменьшенную цену тому же помору, лопари идут с ним в его контору. Тут сверяются счеты хозяина и бирки[79] лопарей. За каждый пуд[80] семги ло-

---

* В последнее время конкурентами кольских кулаков, на которых жаловались нам и многие из колян, являются так называемые «сумочники», то есть коробейники, которые, продавая свой товар по умеренной цене, заставили и кольских купцов сбавить цену.

пари получают приблизительно около пяти рублей. Вычитывается поэтому, сколько задолжали лопари помору и сколько остается денег за купцом. Во время сделки обильно льется водка и норвежский ром. Лопари страшно падки на вино, и обыкновенно уже в первый день их можно увидать пьяными. Не пьянеет, однако, угощающий их купец-помор. Ему выгодно это повальное пьянство лопарей. В дни, когда производится расчет — а купцу выгодно, чтобы длился он дольше — помор сумеет навязать лишний товар потерявшему всякий смысл лопарю, сумеет ловко подтасовать счеты. Лопарь, находясь в самом добродушном настроении, всему верит, за все расплачивается. Кола затягивает лопаря, и он, благодаря своей бесхарактерности, часто не бывает в силах вырваться из нее. Часто, например, видишь — идет лопарь с куском сукна под мышкой: «Вишь, сукна на юпу домой несу. Прощаемся с Колой-городом. Всего накупил; только вот прибылой воды дожидаемся, чтобы по воде было ехать».

Но проходит прилив; отлив уже начался, а тот же лопарь идет вам навстречу еще менее верными шагами.

«Что же ты не уехал?»

«Нельзя так, хозяин держал... вот на юпу сукна купил... прибылой воды ждать надо... нельзя против воды-то». На следующий день тот же лопарь встретится вам с тем же куском сукна и все с той же речью: «на юпу вот сукно... прибылая вода...»

И завтра, и послезавтра то же самое. Лопарь живет в Коле до тех пор, пока хозяин-промышленник, обделав все свои дела, не перестанет поить его.

Что лопари находятся у них в кабале, этого не отрицают кольские купцы. В свое оправдание они, однако, приводят то, что сами находятся в такой же кабале у архангельских капиталистов. Дело в том, что, привозя рыбу в Архангельск, они принуждены бывают сбывать ее архангельским купцам по той цене, которую им те предлагают. Это происходит оттого, что у кольских купцов нет в Архангельске сво-

их складов — негде держать рыбу в ожидании, когда на нее поднимется цена. Кроме того, нет и времени ждать: кольские купцы принуждены к известному сроку возвращаться в Колу с товаром для лопарей. Не имея в руках запасного капитала, они волей-неволей отдают тогда за бесценок свою рыбу, чтобы было на что купить товар. Следует также принять во внимание, что они очень много теряют на бракованном товаре и на утечке; соль, кадки и бочки покупаются ими же — и между тем им обыкновенно приходится отдавать пуд семги за 5—6 р., т. е. получить незначительную прибыль на пуд. Естественно, что все свои убытки они вымещают на лопарях. Часто администрацией возбуждался вопрос об упорядочении торговли семгою. Особенно живо принялся за разрешение этого вопроса бывший архангельский губернатор Н.М. Баранов[81]. Однако до сих пор торговля ведется на прежних, исстари существовавших основаниях.

Кто не жил хоть некоторое время в Коле, тот почти не может себе представить, как вяло и сонно течет здесь жизнь и как она томительно ложится на душу. Чтобы хотя отчасти понять это, необходимо припомнить, что Кола, так сказать, отрезана от всего мира. Сообщение со всем этим остальным миром устанавливается летом во время навигации; сухопутным путем, тем самым, по которому прошли мы от Кандалакши до Колы, большею частью пользуются зимой. Во время же распутицы весной и осенью до Колы не доходит никаких вестей из всего остального мира. И живет Кола своей особенной, тихой, вялой жизнью. Зимой веселее, конечно; возвращаются с промыслов мужчины; люднее становится в городе, веселее жить, хотя тут-то и начинаются долгие полярные ночи, освещенные только сполохами да отблеском снега — ночи, уступающие дню иногда только несколько часов в сутки. Зато веселится молодежь. Девушки по очереди устраивают у себя в доме вечерки: припасают угощение для подруг и ждут молодых людей. Играют, то есть танцуют

«кресты», «шестерку», «кандрель». Веселье молодежи продолжается иногда до 3—5 часов утра (на Святках же и на Масленице до 6 часов), после чего парни идут провожать домой тех девушек, за которыми ухаживают. Старшие смотрят сквозь пальцы на эти ухаживанья и по возможности стараются даже удаляться во время вечерок, чтобы не мешать молодежи. У замужних женщин свое веселье: это именины, справляемые всегда томительно долгим именинным обедом с неизменными пирогом с семгою, пирогом с палтусом, студнем, пирогом с черносливом и т. п. Летом стол рыбный; зимой подаются и мясные блюда*. Девушки на этих обедах не бывают; зовут только замужних женщин с их мужьями. Чинно сидят гости за столом; мужчины по одну сторону, женщины по другую; хозяйка обходит их, угощая. Есть еще празднества, на которые имеют право только замужние женщины: это так называемые «бабьи праздники» — 26 декабря (Собор Божьей Матери) и второй день Пасхи. Все замужние колянки обязаны в эти дни идти к службе; затем, разряженные в богатые сарафаны, в шитые золотом и жемчугом кокошники, закутанные дорогими платками, они идут обедать к своим матерям. Даже если у замужней колянки нет матери, но в родном доме осталась сестра, хотя и моложе ее — она идет домой. Только в том случае, когда в доме у нее только отец да братья, она освобождается от этой обязанности.

Есть в Коле для развлечения обывателей три библиотеки: одна при училище, другая при Кольском соборе, третья при полицейском управлении. Коляне вообще любят читать. Тем более интересна судьба этих библиотек. Соборная библиотека, которая состоит из духовных и светских книг, тщательно хранилась местными священниками. Что касается до второй библиотеки, то она, имевшая около

* Летом в Коле нет мяса; это объясняется тем, что в Коле, так же как и везде на Севере, нет ледников и хранить мясо поэтому в летние жары невозможно.

200 книг, теперь почти вся расхищена благодаря небрежности заведовавших ею.

Только тот, кто представит себе жизнь в Коле, может понять, что значит прибытие парохода в Кольскую губу — желанного парохода, который одним привозит письма, другим — газету, третьим — съестные припасы, нужный для какой-то постройки кирпич и т. п. — и всем колянам, наконец, долю оживления в виде «привального» и «отвального» пиршества. Так как времени прибытия парохода нельзя точно определить ввиду того, что туманы и бури в Ледовитом океане часто задерживают его на неопределенное время, и так как, кроме того, пароход останавливается в трех верстах от города — его караулят несколько дней. Бегают на Соловараку смотреть, не покажется ли дымок, прислушиваются, не послышится ли свисток, и обманываются десятки раз.

Трудно описать ту радость, которую почувствовали мы, когда в одно холодное, пасмурное утро мы вдруг услыхали торопливые шаги людей, ходивших взад и вперед под нашими окнами и часто повторявших на разные лады заветное слово «пароход». Утомленные 22-дневным пребыванием в Коле, мы уже давно страстно желали вырваться из нее. С какой радостью присоединились мы к кучке колян, спешивших к устью реки Туломы, где стоят карбасы. Помню, утро было холодное, свежесть лежала на окрестных горах. Скользя по мокрым, покрытым слизистыми водорослями камням, которые уже успел обнажить отлив, мы добрались до карбаса. И вот быстро понесла нас «убылая вода» из Кольского залива. Здоровый йодистый запах охватывает нас вместе с легким ветерком. Внизу под водою видна темно-бурая сеть водорослей, обращенных своими концами в сторону отливающей воды. Мы обгоняем по пути нагруженные карбасы, которые тоже спешат к пароходу. Вот и Кола с Соловаракой исчезла за выступом горы. Сильнее гребут гребцы. Вот, наконец, на зеленом фоне гор темным силуэтом вырезывается желанный пароход.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Кивач, воспетый Державиным...* — имеется в виду стихотворение Г. Р. Державина «Водопад» (1791—1794).

[2] *Остановились на минуту, привязать к дуге колокольчик* — в городе езда с колокольчиком, предупреждающим пешеходов и встречные экипажи, разрешалась только почте и полиции.

[3] *Кончезерский завод* — точнее, Кончозерский (возле Кончозера, в 45 километрах от Петрозаводска) чугуноплавильный казенный завод, основанный в 1707 г.

[4] *Петрозаводский Александровский завод* — Александровский пушечный завод в Петрозаводске, основанный в 1774 г.

[5] *Бонд* — вертикальный штырь на переднем ходе (оси) конной повозки, на который надевается кузов.

[6] *Деревянное масло* — оливковое масло, использовавшееся в лампадах и в народе считавшееся лечебным средством, особенно при ушибах и ссадинах.

[7] *...кто станцию держит...* — содержание почтовых станций нередко передавалось с торгов частным лицам.

[8] *Мотовка* — опечатка: нужно «мутовка», т. е. часть ствола молодой елочки или сосны с обрезками ветвей на конце. Служила для размешивания теста, сбивания масла из молока или сливок.

[9] *Пудож был почти буквально наводнен ссыльными поляками* — после Польского освободительного восстания 1863—1864 гг. огромное количество как участников восстания, так и причастных к нему или подозревавшихся в причастности было сослано в отдаленные места Русского Севера и Сибири.

[10] *Отбывает ямщину* — служит ямщиком, исполняет натуральную государственную повинность по перевозке почты и пассажиров по почтовым трактам.

[11] *...ногой раскачивает колыбель* — крестьянская детская колыбель (зыбка) подвешивалась к длинному гибко-

му шесту, закрепленному под потолком; с одного из ее углов свисала веревочная петля, надевавшаяся на ногу, так что за женскими работами в «бабьем куту» избы можно было покачивать ее ногой.

[12] *...вышедший, по распоряжению старшины, чинить дорогу* — дорожные работы являлись натуральной государственной повинностью крестьян; старшина — в данном случае волостной старшина, выборный глава крестьянского самоуправления в волости.

[13] *Десятина* — т. н. казенная десятина равна 1,093 га; употреблялась также хозяйственная десятина, в полтора раза бóльшая; вероятно, здесь имеется в виду казенная десятина, употреблявшаяся при измерении крестьянских наделов. Наиболее распространены в России были наделы в 2,5—3,5 десятины на душу.

[14] *Сам-20* — т. е. одно, брошенное в землю зерно, приносило 20 зерен. Чрезвычайно высокий урожай: обычным был урожай сам-2,5 — сам-3,5.

[15] *Волостное правление* — орган крестьянского самоуправления.

[16] *Печку в избе только что затопили и отдушину еще не открывали* — речь идет об избе, топившейся «по-черному», т. е. с печью без трубы. Дым выходил в небольшое «волоковое» окно в верхней части стены напротив печного чела.

[17] *Большуха* — старшая женщина в большой патриархальной семье, жена «большака» — еще бодрого деда, отца семейства, старшего брата и проч. Осуществляла распорядительные функции.

[18] *Байна* — баня (диалектн.). В крестьянской семье «первый пар» принадлежал работникам-мужчинам, второй — женщинам-работницам, третий — старикам и детям.

[19] *Гильфердинг* — Александр Федорович (1831—1872), русский славяновед, историк, собиратель былин. В 1871—1872 гг. предпринял экспедицию в Олонецкую губернию для собирания фольклора, записав 318 былинных текстов.

[20] *Кубовый цвет* — синий, индиго; название от окрашивания тканей в кубах. Вероятно, здесь речь идет о т. н. выбойке (не путать с набойкой) с белым орнаментом по синему полю.

[21] *Аршин* — русская мера длины, 71,12 см.

[22] *Толокно* — традиционный русский продукт, толченая в ступе мука из слегка поджаренного овса. Заваренное на воде или молоке, служило самостоятельным блюдом.

[23] *...хины ему не прислали из городской аптеки...* — земские и казенные (от врачебной палаты) врачи, больницы и аптеки находились в уездных городах, а на местах, в центрах волостей, постоянно находились фельдшеры, нередко из отставных солдат, служивших при госпиталях. Врачи только периодически наезжали в фельдшерские пункты, контролируя фельдшеров и снабжая их лекарствами, в данном случае корой хинного дерева, применявшейся при приступах малярии.

[24] *Первый Спас* — народное название праздника Происхождения (изнесения) древ Креста Господня, 1 (14) августа.

[25] *Тихвинской Б. М.* — празднование в честь иконы Тихвинской Божьей Матери, 26 июня (8 июля).

[26] *Иоанна Крестителя* — праздник в память усекновения главы Крестителя Господня Иоанна, 29 сентября (11 октября).

[27] *Никола вешний и осенний* — празднования в честь Николая Чудотворца 9 (22) мая и 6 (19) декабря.

[28] *Пошевни* — сани с зашитыми лубом или мешковиной проемами между накопыльниками и отводами.

[29] *...с тех пор, как правительство стало противодействовать семейным дележам...* — стремясь поддержать крестьянское благосостояние, рушившееся от семейных разделов, в 1886 г. правительство обусловило их рядом правил, тем самым затруднив разделы.

[30] *Назем* — навоз, единственное тогда удобрение. В старой деревне коров держали не столько для молока, сколько для навоза: чем больше навоза, тем больше запахивается земли, тем выше урожаи.

[31] *Медный значок* — зд.: должностной знак волостного старшины, небольшая бронзовая или медная медаль с губернским гербом и указанием должности; носился на левой стороне груди на фигурной булавке с цепочкой.

[32] *Мережи* — сети.

[33] *Исправник* — уездный исправник, или капитан-исправник, до 1862 г. выборный от дворянства, затем назначавшийся правительством председатель нижнего земского суда, полицейского органа с функциями суда по мелким гражданским и уголовным делам.

[34] *...кашу, которая называется «васильевщиной»...* — На Новый год отмечался день св. Василия Великого.

[35] *Св. Варвары* — празднование в честь великомученицы Варвары, 4 (17) декабря.

[36] *Волостной суд* — выборный крестьянский суд по мелким гражданским делам при волостном правлении.

[37] *Корщик* — зд.: кормщик, рулевой (диалектн.).

[38] *Брас* — снасть, закрепленная за конец рея, к которому подвязан парус; брасы служат для поворота парусов под определенным углом к ветру. Возможно, Харузина путает брас с фалом, снастью, закрепленным за нижний угол паруса для управления им.

[39] *Нетелка* — нетель, молодая корова, которая еще ни разу не телилась.

[40] *Поярковая* — свалянная из поярка, тонкой шерсти с ярки, молодой, еще ни разу не ягнившейся овцы.

[41] *Урядник* — зд.: младший полицейский чин в центре волости, из отставных армейских унтер-офицеров.

[42] *Премии «Нивы»* — журнал «для семейного чтения» «Нива» высылал своим подписчикам в виде премий олеографические репродукции популярных картин с рамками.

[43] *Баско* — красиво (диалектн.).

[44] *Порато* — очень (диалектн.).

[45] *Петун* — петух (диалектн.).

[46] *Дворовой* — по поверьям, нежить, хозяин двора, как домовой — хозяин дома. Дворовой довольно злобен и мучает ночами не полюбившуюся ему скотину.

[47] *Праздник Тихвинской Божьей Матери* — см. примеч. 25.

[48] *Кабестан* — горизонтальный ворот, на который на гражданских судах наматывается якорная цепь.

[49] *Семужий забор* — устройство для лова «ходовой» рыбы, в данном случае семги: русло реки перегораживалось разной конструкции изгородями, а в оставленных проемах ставились верши (морды).

[50] *Факторист* — владелец фактории, универсального торгового заведения, преимущественно ведшего меновую торговлю с инородцами.

[51] *Аристон* — механический музыкальный инструмент, на котором при посредстве вращаемых пружиной круглых картонных пластинок с вырезанными продолговатыми отверстиями разной величины исполнялись музыкальные пьесы.

[52] *Становой* — зд.: становой пристав, полицейский чин в стане, полицейском подразделении уезда.

[53] *1 тыс. ф.* — 1 тысяча футов. Фут — английская мера длины, употреблявшаяся и в России, 306 мм.

[54] *Губа* — на Русском Севере — морской залив, обычно устье реки.

[55] *Лопари* — старое название северной народности саамы, принадлежащих к финской группе языков; русские также называли их самоедами.

[56] *Сорока* — шемшир, самшур — головной убор лопарских женщин, жесткий цилиндр из красной ткани со скошенным верхом, напоминающий кокошник.

[57] *Сарсапарель* — сассапариль, произрастающее в тропических, субтропических и умеренных областях, в т. ч. на Кавказе, растение рода лиан. Корень широко применялся в фармокопее, в т. ч. для лечения сифилиса.

[58] *Весенний Егорий* — народное название дня великомученика Георгия Победоносца, 23 апреля (6 мая).

[59] *...смесью муки с сосновой корой* — точнее, не с корой, а с заболонью, мягкой, слегка сладковатой субстанцией, нарастающей весной на молодых деревьях между собственно корой и древесиной и при затвердевании образующей древесину. Ее снимали ремнями, резали на кусочки, сушили в печи и толкли в ступе, подмешивая в муку. Эта «мезга» широко употреблялась при неурожаях и в ряде великорусских и западных губерний — в Белоруссии, на Смоленщине.

[60] *Koechlin-Schwartz* — автор книги «Un touriste in Laponie» (1882).

[61] *Финмаркен* — Финмарк, область на севере Норвегии; коренное население — лопари (саамы).

[62] *Фильманы* — русское название норвежских и шведских лопарей.

[63] *Повязка* — девичий головной убор в виде широкой ленты с жестким очельем, оставлявший открытой макушку. Как шемшир (самшур) напоминает великорусский кокошник, так и лопарская повязка идентична русской.

[64] *Мартиньи* — лицо неустановленное.

[65] *Мон* — Моне Франц-Иосиф (1796—1871), германист, профессор истории в Гейдельберге.

[66] *Шняка* — шнека, одно- или двухмачтовое парусно-гребное рыболовецкое судно русских поморов; длина 7—12 м, ширина 2—2,5 м, осадка 0,6—0,8 м, грузоподъемность 2,5—4 т, экипаж до 4 человек.

[67] *Саж.*— зд.: сажень, русская мера длины, 2,134 м.

[68] *Верста* — русская мера длины, 1067 м.

[69] *Ушкуйники* — в Новгородской земле XIV—XV вв. члены вооруженных дружин, формировавшихся боярами для

захвата колоний на Севере и торгово-разбойничьих экспедиций.

[70] *В 1809 г. англичане высадились на берегу Кольской губы* — после заключения в 1807 г. Тильзитского мира с Наполеоном, по его условиям Россия примкнула (в основном формально) к континентальной блокаде Англии, что поставило ее во враждебные отношения с англичанами.

[71] *Бакан* — бакен, плавучий знак на якоре, отмечающий фарватер.

[72] *Бургомистр* — глава городского самоуправления в уездном городе.

[73] *«Сон Богородицы»* — апокрифическое сказание, очень популярное в народе; состоит из описания пророческого сна Богородицы о страданиях и крестной смерти Спасителя и заговора, объясняющего пользу ношения списка на шее в ладанке или хранения дома.

[74] *Лета 7143...* — от сотворения мира, как велся древнерусский календарь до 1 января 1700 г.

[75] *Максимов* — Сергей Васильевич (1831—1901), русский этнограф, фольклорист и бытописатель, автор многочисленных работ, написанных на этнографическом материале. Совершил много путешествий, в т. ч. на Север, результатом чего стала большая книга «Год на Севере» (т. 1—2. СПб., 1859).

[76] *...в 2 света...* — т. е. с двумя ярусами окон.

[77] *Присутственное место* — государственное учреждение.

[78] *1 фунт сарсапарели, любимого напитка лопарей, который они, кроме того, употребляют как лекарство...* — см. примеч. 57.

[79] *Бирки* — форма ведения счета: палочка, на которой делаются зарубки разного размера, чтобы не забыть количество товара, денег и проч.

[80] *Пуд* — русская мера веса, 16,4 кг.

[81] *Баранов Н. М.* — Николай Михайлович (1837—1901), морской офицер, командир парохода «Веста» в известном его бою с турецким броненосцем «Фатхи-Булен», затем некоторое время в отставке, в начале 1881 г. исправляющий должность ковенского губернатора, после 1 марта 1881 г. петербургский градоначальник, вскоре перемещенный губернатором в Архангельск; наиболее известен как нижегородский губернатор (в 1882—1897 гг.).

Содержание

Л. В. Беловинский. ПУТЕШЕСТВЕННИКИ НА СЕВЕРЕ........................3

I. КИВАЧ. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ПУДОЖСКИМ УЕЗДОМ
Поездка на Кивач. От Петрозаводска до Пудожа.
Пудож........................ 13

II. НА ОЗЕРЕ КУПЕЦКОМ
Дорога на озеро Купецкое. Лядины. Большая семья.
Священные рощи и культ лесного царя. У Матрены.
Староверческий нос. Певец былин. Бесёда........................32

III. ВОДЛОЗЕРО
Водлозеро и водлозеры. Дети. В бурю по Водлозеру.
Пречистенский и Ильинский погосты. Культ водяного.
Ворожея Мудричиха........................68

IV. КЕНОЗЕРО
В Тамецкой Лахте. «Иваньская ночь». В «поле». Игры.
Песни девушек........................96

V. К БЕЛОМУ МОРЮ
В Повенец. По дороге в Данилово. Данилово.
Большуха. По Выгу и выгским порогам.
К Белому морю........................111

VI. ПО ЛАПЛАНДСКИМ ЛЕСАМ И ОЗЕРАМ
На море. В Кемском заливе. Кереть. Прибытие
в Кандалакшу. Сборы в путь. Первый переход
по Лапландии. Лопари. Станция Зашеечная.
По Имандре. Лопарские песни. Отношение
лопарей в северным оленям. Станция Масельга.
От Масельги до ст. Кицкой. Последний переход........................128

VII. КОЛА
Кола. История города. Нападения на него шведов
и англичан. Жизнь в Коле........................170

Примечания........................185

ISBN 978-5-85209-360-8

Подписано в печать 10.07.2015.
Формат 60×84/16. Бумага офсетная.
Уч.-изд. л. 10. Тираж 500 экз.
Заказ № 9. Цена договорная.
Издательство: Государственная публичная
историческая библиотека России, 2015.
ГСП 101990, Москва, Старосадский пер., 9, стр. 1.